

Татьяна Сергеева



**ТОРТ НЕМЕЦКИЙ - БАУМКУХЕН,
или
В ТЕНИ ЛЕОНАРДО**

Татьяна Сергеева

Торт немецкий- баумкухен, или В тени Леонардо

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68969481

SelfPub; 2023

Аннотация

Перед вами – подлинные записки петербургского обывателя второй половины 18-го – начала 19-го веков. Они были найдены в завалах строительного мусора во время реставрационных работ в Меншиковском дворце в Петербурге. В толстой тетради, исписанной тонким «готическим», «немецким», как тогда говорили, почерком, рассказчик–именитый гражданин Российской столицы, повествует не только о жизненном пути от безвестного немецкого повара, усилием воли и профессиональным талантом ставшего знаменитым кондитером, а спустя годы – одним из первых рестораторов Петербурга. Большая часть «Записок» посвящена знаменитым современникам, с которыми связана его жизнь. Это воспоминания о близком человеке, с судьбой которого была тесно переплетена его собственная судьба – Николае Александровиче Львове, нашем почти забытом обывателями русском Леонардо – поэте, драматурге, переводчике, композиторе, удивительном

архитекторе, никогда и нигде не учившемся искусству архитектуры, «Гении вкуса», как называли его друзья.

Содержание

Вместо вступления	5
Пролог	8
Послесловие	224

Татьяна Сергеева

Торт немецкий- баумкухен, или В тени Леонардо

Вместо вступления

Зимой 2019 года Лабораторией археологии СПбГУ проводились плановые реставрационные работы в Меншиковском дворце в Петербурге. В какой-то день рабочие вскрыли полы в Наугольных палатах – и онемели от неожиданности. В завалах обычного строительного мусора оказались настоящие сокровища – несколько тысяч документов разных времён, начиная с восемнадцатого века до недавнего времени, рапорты, отдельные листы из учебников геометрии и французского языка, записки, доносы и прочее... В Меншиковском дворце когда-то располагался Сухопутный шляхетный корпус, а в советские времена здесь были Военно-Политическое училище, Военно-транспортная академия, 1-ый Юридический институт.

Все найденный бумаги были в сухой пыли, влага, видимо, под пол не попадала. Весь ценный клад собирали в мешки, пронумеровывали и после этого просеивали через специальное сито... В настоящее время эти ценнейшие находки пере-

даны в музей СПбГУ. В результате предварительного осмотра были сделаны первые выводы: документы, относящиеся ко второй половине девятнадцатого века, века двадцатого и советских времён сохранились прекрасно. К сожалению, бумаги более раннего периода – конца восемнадцатого – начала девятнадцатого века, были достаточно сильно повреждены временем.

Но перед вами сейчас – подлинные воспоминания петербургского обывателя середины восемнадцатого – начала девятнадцатого веков. Восемнадцатый век оставил нам много прекрасно сохранившийся официальных документов, но, к сожалению, частных писем, записок, мемуаров почти не сохранилось, видимо, они в архивы тогда не откладывались. Толстая тетрадь, найденная под полами Наугольных палат, исписанная тонким «готическим» – «немецким», как говорили в те времена, почерком, представляет собой счастливое исключение. В этих воспоминаниях рассказчик не только повествует о собственной повседневной жизни петербуржца того времени, но и о знаменитых своих современниках, с которыми он был тесно связан. И прежде всего в них рассказывается о жизни Николая Александровича Львова, близкого человека автора – нашего, почти забытого, русского Леонардо – в советские времена его имя даже в энциклопедиях не упоминалось...

К сожалению, прочитать что-то на последних страницах этой тетради не смогли даже специалисты- книжные рестав-

раторы. Для бытовой переписки в те времена использовалась толстая шероховатая бумага, окрашенная в серо-голубые тона. На ней чаще всего писали коричневыми чернилами, которые здесь настолько выцвели, что стали совершенно неразличимы...

Пролог

Появлению этих моих записок способствовало одно весьма грустное событие, случившееся ещё в мае прошлого 1810 года. Посетили мы тогда с Гаврилой Романычем Державиным Никольское-Черенчицы близ Торжка – имение дорогих нам усопших – незабвенного Николая Александровича Львова и жены его Марии Алексеевны, урождённой Дьяковой. С Державиным меня связывает близкое многолетнее знакомство, и я с готовностью откликнулся на его предложение быть ему компаньоном в поездке в дорогое для меня имение, в котором прошли мои ранние годы.

Имение Никольское ныне принадлежит старшему сыну Львовых Леониду. По делам службы он не мог нас сопровождать, но дворня соответствующие распоряжения получила, и нас там ждали. Дорога до Никольского, конечно, была довольно обременительной – всё-таки стояла ранняя весна, распутица... Гаврила Романыч при каждом толчке охал и потирал спину – сказывался возраст. Но был он удручён вовсе не тряской на дороге. Очень он переживал по поводу своей любимицы – Лизоньки.

Дело в том, что Львовы оставили на этом свете пятерых детей. Старший их сын – Леонид закончил юнкерскую школу при Сенате и пошёл по стопам отца – служит в Коллегии Иностранных дел. Второй сын Александр нынче занима-

ет должность в министерстве юстиции. Ну, а трёх младших дочерей Львовых бездетный Державин удочерил. Женатый вторым браком на Дарье Алексеевне Дьяковой – младшей сестре Марии Алексеевны Львовой, он был теперь им дядей. Дети жили в его доме, он заботился о всех пятерых, но всё-таки особенно выделял старшую дочь Львовых Лизу. Она была у него секретарём и весьма усердно выполняла свои обязанности. И вдруг случилось непредвиденное – вопреки желанию приёмных родителей, она твёрдо решила выйти замуж за своего двоюродного дядю-вдовца – Фёдора Петровича Львова. Всё бы ничего, но у него было наследство – десять детей, а Лизоньке всего-то двадцать два года! Очень Гаврила Романович переживал по этому поводу, не такой судьбы хотел он своей любимице, но при независимом характере Елизаветы несколько не исключалось и тайное венчание, по примеру её родителей! Я напрасно пытался его успокоить, осторожно советовал предоставить всё на промысел Божий, ведь сам Николай не однажды говорил, что Лизу невозможно переупрямить! Но Гаврила Романыч в ответ только головой качал и сокрушался ещё более.

Наконец, добрались мы до Никольского. Управляющий имением поселил нас в гостевом двухэтажном доме, построенном когда-то Львовым для своего друга поэта Петра Вельяминова. Дом этот землебитный, тёплый и отапливаемый известным Львовским способом, как и мой собственный на Миллионной улице.

Приехали мы в Никольское уже к ночи, прилично уставшие, потому, отужинав, тут же разошлись по своим комнатам. Утром нам подали сытный завтрак, и, выпив кофе, отправились мы с Гаврилой Романычем в обход имения, но каждый своей дорогой.

Державин тут же пошёл в храм-усыпальницу, где вечным сном покоятся наши незабвенные друзья. Я не стал ему мешать: каждому из нас надо было побыть у дорогих могил в одиночестве. Мне прежде всего захотелось навестить на погосте давно усопшего своего батюшку. Посидел я на скамеечке подле его могилки, хорошо прибранной и ухоженной, поговорил с ним, рассказал, о своей жизни. Не без гордости поведал ему о том, что я нынче в Петербурге не последний человек: ресторан мой – один из лучших в столице, славится своими блюдами и гостеприимством и приносит мне немалый доход. Похвалил внука его, Николая, который унаследовал наше семейное кухонное ремесло, во всём для меня помощник и опора, и ведёт дела нашего ресторана ловко и грамотно. Рассказал я батюшке, что внучка его Машенька унаследовала от матери чудный талант кружевницы, и что заказов у неё от самых знатных дам столицы полным-полно. Поделился я с батюшкой и радостной новостью, о том, что Машенька год назад счастливо вышла замуж и к осени должна родить ему правнука или правнучку. Значит, род Кальбов будет здравствовать...

Попрощался я с батюшкой, поклонился в пояс его могил-

ке, и отправился бродить по имению. Для меня Никольское ведь дом родной. Каждый уголок в нём мне знаком. Здесь прошло детство наше с Николенькой Львовым. Приезжал я сюда частенько и в последующие годы своей жизни, радовался, как преображается, каким красивым становится старое имение. А как пошли у Львовых детишки, жил я здесь со своей семьёй подолгу каждое лето, считая своим долгом вкусно кормить всю нашу дружную компанию. В те самые годы, какие люди сюда приезжали, боже мой! Но об этом после...

В храме-усыпальнице склонился я перед святыми для меня могилами Львовых в низком поклоне, и долго стоял, не поднимая головы. Кругом была тишина, только звенели силицы и где-то звонко стучал по дереву дятел...

Николай... Николай Львов... Если бы судьба не свела меня с ним, остался бы я занудой-обывателем, унылым невеждой, ничего не ведающим далее кухонной плиты. Я прожил большую часть жизни в тени гения, и эта благодатная тень сделала меня тем, кем я нынче есть. Я стал образованным человеком, свободно говорящим на трёх языках, приобщился к миру прекрасного, к живописи, к музыке... Благодаря нашей тесной душевной привязанности я не только познакомился с замечательными, удивительными людьми, которые окружали Николая, но и сам оказался связан с ними своими собственными нитями. Кроме того, супруги Львовы немало способствовали тому, чтобы получили достойное образова-

ние и мои дети. Знание иностранных языков, любовь к музыке, художественный вкус – всё пришло к ним из дома Львовых, не говоря уже о тех великолепных учителях, которые с одинаковым усердием обучали детскую компанию в обоих наших домах.

На обратном пути долго ехали мы с Гаврилой Романычем, молча, думая каждый о своём. Дорога из Никольского до Торжка едва успела освободиться от снега, кругом были огромные лужи, скрывавшие глубокие рытвины, набитые колесами экипажей в зимние месяцы и в нынешнюю весеннюю распутицу. Тяжело охнув и потеряв поясницу после очередного дорожного ухаба, Гаврила Романыч вдруг сказал.

– Послушай, Адриан, какие мысли пришли мне в голову, когда стоял я в одиночестве и тишине у могилы нашего Николая.

Он потихоньку откашлялся и прочитал, как всегда, нараспев.

– Плакучие березы воют,
На черну наклоняся тень;
Унылы ветры воздух роют;
Встает туман по всякий день —
Над кем? – Кого сия могила,
Обросши повиликой вкруг,
Под медною доской сокрыла?
Кто тут? Не муз ли, вкуса друг?

Голос его дрогнул. Старик замолчал. Я тоже молчал, не в силах произнести ни слова. Державин вздохнул и грустно произнёс.

– Я дома допишу... Это так – первые мысли.

И помолчав немного, Державин вдруг произнёс.

– Знаешь об чём я думаю, Карлуша? – Встретив мой вопросительный взгляд, он виновато усмехнулся. – Ты уж прости, дорогой, сколько лет прошло, а всё не могу я привыкнуть к твоему русскому имени. Для меня ты так «Карлушей» и остался...

– Бог с Вами, Гаврила Романыч... – Отмахнулся я. – Я по рождению – Карл, имя «Карлуша», мне собственную юность напоминает. Вы что-то начали говорить, продолжайте, я внимательно слушаю.

– Да... Я вот о чём... Семь лет миновало, как нету с нами Николая, нашего «Гения вкуса», как мы, друзья, звали его за глаза. Но всё в жизни проходит и забывается. Имя Львова, стараниями его завистников и недоброжелателей, начинает стираться из памяти наших современников. Очень мне хочется написать о нём, только дела мои творческие не дают свободного времени, всё откладываю, да откладываю на потом... Мне на свои «Записки» о собственной жизни, что начал писать давненько, сил не всегда хватает. Годков-то мне не убывает, шестьдесят восемь стукнет нынешнем летом, коли даст Господь дожить... Вот я и подумал нынче, пока мы по усадьбе-то Львовской бродили... Отчего бы тебе не взять-

ся за этот труд?

Я просто онемел от такого предложения. И от кого! От самого Державина! Что-то пытался возразить, бормотал что-то нечленораздельное.

– Ты с Николаем поболее меня связан был. С самого общего вашего детства. Человек ты весьма грамотный. Слог у тебя лёгкий – я твои кулинарные записки, кои ты моей жене представил, с большим удовольствием прочитал, много смеялся, поскольку они остроумны и неожиданны весьма. Почему бы тебе серьёзно за перо не взяться? Львов – это ведь не только сам Львов... Вокруг него столько замечательных людей теснилось! Каждому из них можно мемуары посвятить.

Гаврила Романыч не унимался, и, более того, воодушевлялся собственной идеей всё более и более. Я, конечно, возражал, считая, что любые мои потуги в написании мемуаров, посвящённых Львову, будут самой настоящей дерзостью и неуважением к памяти нашего общего друга. На станциях мы выходили, конечно, чаевничали, перекусывали, что нам с собой в дальнюю дорогу в Никольском приготовили, но так от этого спора и не отвлеклись. Даже когда остановились в Новгороде, спутник мой только рукой махнул, указав мне на поворот дороги, по которой всего пятьдесят пять вёрст до его любимого имения Званки, где он теперь после ухода в отставку проводит все летние месяцы. Так мы и проспорили всю дорогу до Петербурга, трясясь в коляске по непросохшей весенней дороге. Но что вы думаете?! Убедил ме-

ня Гаврила Романович, согласился я попробовать что-то написать, при условии его постоянного наблюдения за творчеством моим. На том и порешили. Правда, прошло немало времени после этого разговора – никак я не решался взяться за перо. Ну, а как написал первую фразу, первую строчку – так и пошло... Но предупреждаю заранее, любезный читатель, что я намеренно в своих записках не стал касаться событий исторических, эпохальных не только в России, но и в Европе: войн, революций, бунтов, казней и подобных тому потрясений. Не мне, обывателю, немцу по происхождению, судить о них. И, тем более, не стану я пересказывать всякие сплетни и чужие суждения об известных людях и событиях. Перед Вами только мои воспоминания о собственной частной жизни простого петербуржца, хоть и называюсь нынче «именитым», а всё равно я – самый, что ни на есть, примитивный обыватель. И хотя дал я себе крепкое слово писать о себе самом как можно меньше и сдержаннее, только самое необходимое, чтобы будущему моему читателю представить прежде всего яркую личность Николая Александровича Львова, а не свою собственную весьма заурядную личину, но ничего у меня не получилось: как я ни старался, записки мои оказались очень личными, о себе, о судьбе своей всё равно пришлось рассказывать очень подробно. Не получилась у меня биография Николая Львова, а вышла этакая повесть о собственной жизни. Дело в том, что только в детстве и юности мы шли с ним плечом к плечу, в ногу, а потом

дороги наши разошлись – у каждого была своя собственная. В последние годы его жизни мы поддерживали нашу связь только частыми письмами: Николай жил в Москве, где у него была большая удобная квартира на Воронцовом поле, а как занемог, то вовсе не покидал более своего имения. Я многого не понимал в его профессиональных делах, тем более, что творил он в самых разных областях, весьма далёких от моей жизни. У меня она была самая простая, может быть, даже примитивная, а у него был сложный, порой запутанный путь разносторонне одарённого Богом человека... Но в одном мы были с ним похожи, в одном неизменно друг друга понимали – это в целеустремлённости своей, несгибаемости, последовательности в достижении цели. Конечно, я во многом подражал ему в этом, порой, когда сдавали нервы от неудач и хотелось всё бросить или оставить всё, как есть и не двигаться вперёд, я оглядывался на Николая, и мне становилось стыдно – почему он может никогда не сдаваться, не сгибаться, а я, оказывается, по сравнению с ним, бесхарактерный слюнтяй... И, как ни странно, после этих сравнений и размышлений, дела мои выравнивались и даже начинали идти в гору.

Я, конечно, расстроился, что не получились у меня воспоминания о самом близком друге, тем более, что я очень боялся разочаровать Державина в его надеждах на мои способности мемуариста. Дождавшись осенью его возвращения из Званки, посетил я его в доме на Фонтанке, построенном для него Николаем Львовым, и дрожащей рукой передал ему

свои записки. И стал ждать приговора.

Он отмалчивался довольно долго, я было совсем извёлся, когда пришёл от него за мной человек. Гаврила Романыч принял меня в своём большом уютном кабинете. Я вошёл робко, не решаясь даже взглянуть на него. Он указал мне на кресло рядом с собой, пристально посмотрел на меня и вдруг громко расхохотался.

– Чего ты такой испуганный? Адриан, милый, творчество – процесс живой: задумываешь, бывало одно, а напишешь – и получается совсем иное... Конечно, не вышла у тебя биография Львова. Увы! Но зато совсем неожиданно получилась весьма любопытная собственная твоя история – история человека, одарённого в области, мало кому известной... Счастье твоё, что на жизненном пути тебе встретились замечательные люди, о которых ты так остроумно рассказываешь... Но и сама по себе повесть жизни твоей необычайно любопытна, написана она добротнo, написана так, словно ты всю жизнь только писательством и занимался. Я от души поздравляю тебя!

Голова моя закружилась от счастья: получить одобрение от такого мастера, как Державин! Мы ещё долго с ним говорили. Гаврила Романыч указал мне на целый ряд моих погрешностей, и литературных, и грамматических. Немец по происхождению, я не слишком сведущ в русском правописании, сколько в юности надо мной ни бился Николай. В конце концов, мы договорились, что править мою рукопись будет

Лизонька, которая нынче вовсю готовилась к предстоящему бракосочетанию, не слушая никаких увещеваний своих приёмных родителей. Тем не менее, как я после узнал, она с готовностью согласилась привести мою рукопись в порядок.

Вот такое длинное вступление написал я к своему литературному труду. Думаю, оно вполне оправдано, поскольку иначе, как мне было бы объяснить, вам, любезный читатель, с чего это я, старый кондитер и повар, вдруг принялся за литературный труд.

Итак, немедля более, я начинаю свою историю со времён весьма давних.

Как только Анна Иоанновна, герцогиня Курляндская обосновалась на Русском троне, и вслед за ней прибыл в Петербург её всемогущий любовник Иоганн Эрнст Бирон, потянулись за ними многие их соотечественники в надежде на лёгкие заработки и быстрое обогащение. В известных Петербургских домах стало модно нанимать немецких и голландских поваров, их даже специально выписывали из-за границы. Насколько мне известно из семейных преданий, в Россию был выписан чуть ли не самим Бироном и мой дед, поскольку славился он своим кулинарным искусством по всей Курляндии. Семейство его к тому времени состояло из моей бабушки и двух сыновей-близнецов семи или восьми лет отроду. В доме какого-то богатого немца дед мой счастливо трудился более пяти лет. Но вдруг разразилась неожиданная

катастрофа – Анна Иоанновна умерла. Взошедшая на престол Елизавета Петровна объявила себя истинно русской императрицей, наследницей великого батюшки своего, и отправила в ссылку вместе со своими многочисленными семействами всех чиновников-иноземцев, изрядно обогатившихся под крылом Курляндской герцогини и Бирона. Не миновала сия участь и хозяина деда моего. Отправлен он был в далёкий Сибирский город Тобольск. Был он вдов и бездетен, но изрядно богат и расставаться со своими слугами не захотел. Да и кушать сытно и вкусно он, страсть как, любил. Деду моему с женой и мальчиками деваться было некуда, в Петербурге оставаться было опасно: слишком велик был гнев народный на тех самых иноземцев, крепко прилепившихся к русскому трону. На улицах по ночам не прекращались убийства и грабежи. И поехало в Сибирь семейство моего деда следом за своим господином. В Тобольске сосланный хозяин довольно быстро почил. Несколько раз пришлось деду моему менять своих господ, но поварское искусство его получило огласку по всему городу и оказался он, в конце концов, в поварне самого губернатора Сибири Мятлева. Сыновья деда – мой незабвенный батюшка, Франц Николаевич Кальб, как звали его в России, и другой – любимый дядя мой Ганс Николаевич, выросли в этой поварне, а точнее, как позже стали именовать это специальное строение – в кухонном флигеле.

Здесь готовилась еда и после приносилась в господский

дом. Здесь же была и квартира деда, где он до самой своей смерти прожил со своим семейством. Сыновья росли, иногда не гнушались прислуживать хозяевам и именитым гостям за столом, а, самое главное, перенимали у батюшки всё умение по приготовлению разнообразных блюд и угощений. Причём ещё в те давние времена появились у каждого из них свои предпочтения, в которых они достигли весьма большого искусства. Отец мой любил и умел готовить наивкуснейшие сибирские первые и вторые блюда, а дядюшка проникся страстной любовью к изготовлению разнообразных десертов и всяких выпечек, вроде шанежек, пирогов, кулебяк и расстегаев, до которых сибиряки большие охотники. Но дед и бабушка старели, дряхлели и, так уж случилось, покинули этот мир в один год. И поварня в доме губернатора перешла по наследству их сыновьям. К тому времени батюшка мой был женат. Матушка моя, тоже из немцев, была белошвейкой в губернаторском доме, и в 1755 году родился у них я, Карл Францевич. Дядюшка мой так и остался холостым до самой своей смерти.

Но так уж случилось: едва мне исполнилось восемь лет, как умерла совсем молодой моя матушка. Остался я на попечении двух мужчин – отца и дяди, которые всё сделали, чтобы я вырос порядочным, достойным человеком.

Жизнь продолжалась. Обстоятельства нашего существования в Тобольске снова изменились.

Губернатора Мятлева, отправленного в чине адмирала на

корабельный флот, сменил на этом посту Фёдор Иванович Соймонов, личность замечательная во всех отношениях. О нём короткие заметки писать сложно. Здесь искусство романиста требуется, а не мои жалкие потуги. Подробные описания его славных деяний интересующийся читатель найдёт во многих исторических справочниках. Ну, а я постараюсь высказаться о нём кратко и, так сказать, официально. Иначе, любезные читатели, трудно будет понять, почему моя жизнь в определённый период оказалась тесно связанной с этой фамилией.

Итак. Сподвижник великого Петра и человек, сделавший немало для молодой России, Фёдор Иванович в годы царствования Анны Иоанновны оказался случайно замешан в запутанном деле некоего Андрея Волынского и был приговорён вместе с ним к смертной казни. Но прямо на эшафоте смертная эта казнь была отменена. У Фёдора Соймонова вырвали ноздри, он был высечен кнутом и отправлен на каторгу в Охотск. Но года через два достигла его милость новой государыни Елизаветы Петровны. Думаю, что немалую роль сыграли здесь и слёзные прошения несчастной супруги его, умолявшей дочь Петра смягчить участь преданного соратника её отца. С трудом разыскали на каторге Фёдора Соймонова царские посыльные. Ему вернули все утраченные почести и разрешили жить, где пожелает. Вернулся он из столицы обратно в Сибирь вместе с женой, старшим сыном и младшей дочерью – старшая была уже давно замужем, а младшая

так замуж и не вышла, после смерти матери всегда была при старике. Ну, а младший его сын остался в Петербурге, где обучался строительному и архитектурному искусству. Этому человеку я многим обязан, о чём, вы, мои любезные читатели, прочитаете далее.

Губернатор Мятлев был старым флотским товарищем Соймонова и вскоре предложил ему возглавить секретную Нерчинскую экспедицию, как я сейчас понимаю, созданную с целью укрепления позиций России на Тихом океане. В этом деле первым помощником ему стал старший сын Михаил. Ну, а как Фёдор Иваныч сменил Мятлева на губернаторском посту, то много славных дел произвёл в Сибири и оставил там о себе воспоминание, как о человеке требовательном, принципиальном и... добром. И, между прочим, отменил все телесные наказания. Часто повторял: «Я знаю, что такое кнут». Я, конечно, того помнить не могу, но, говорят, до самой смерти не показывался он в публичных местах без лёгкого платка, прикрывавшего нижнюю часть лица с вырванными ноздрями...

Императрица Екатерина вторая в 1763 году уважила просьбу овдовевшего семидесятилетнего старика и уволила его от губернаторства. Фёдор Иванович Соймонов должен был вернуться в Москву и служить там сенатором при Московской сенаторской конторе, занимаясь проблемами Сибирской политики.

Старший его сын Михаил Фёдорович к тому времени на-

столько преуспел в горном деле, что был назначен императрицей главой Берг-коллегии в Петербурге. А младший сын Юрий Фёдорович, как я писал ранее, давно обосновался в столице. У него был большой дом на Васильевском острове, он только что женился, и с нетерпением ожидал приезда старшего брата. Служил он строителем или даже архитектором в Конторе строений.

Тем временем в Tobольск стали доходить упорные слухи, что в Петербург вновь стекаются немцы. Новая государыня была немкой, но поскольку любила она французских философов и даже вела с ними переписку, то к немцам вскоре присоединились французы, за ними потянулись итальянцы, греки и прочие иноземцы...

Как пустилось семейство Соймоновых в дальнюю дорогу – Фёдор Иванович с дочерью и Михаил Фёдорович, взявший на себя все дорожные хлопоты, – так с ними отправилось и мы – два повара немецких кровей, не пожелавших более оставаться в Сибири, да с ними я – малолеток, девяти лет отроду.

Не буду описывать долгое и тяжёлое путешествие по Сибирскому тракту – не о том пишу записки эти. Я так устал от бесконечной тряски, пронзительного звона бубенцов, ругани встречных ямщиков, что было тогда у меня единственное желание добраться до какой-нибудь лавки, да свалиться на неё замертво. Но как прибыли мы, наконец, в Москву, сразу покорила она меня – мальчишку яркостью своих

церковных куполов, множеством народа и громкими голосами разносчиков на улицах. Михаил Фёдорович поселил старого батюшку с сестрицей в Москве в каком-то богатом доме, и, отдохнув пару дней, тронулись мы в дальнейший путь. Из разговоров взрослых узнал я, что впереди у нас дорога до некоего города Торжка, из которого надобно будет повернуть в сторону и эдак вёрст пятнадцать проехать до каких-то Черенчиц. Черенчицы эти были имением двоюродного брата Михаила Фёдоровича, некоего Александра Петровича Львова, который с нетерпением ожидал его приезда. Здесь мы должны были отдохнуть несколько дней, чтобы набраться сил для последнего пути до Петербурга.

Так всё и сложилось. Приехали мы в Черенчицы глухой ночью. В барском доме поднялся переполох, шум, гам... Потом все разобрались, успокоились, наш отряд накормили, напоили чаем и отправили спать по разным комнатам. Я к тому времени совсем расслабился, и не очень понимал, куда меня ведёт барский лакей. А привёл он меня в детскую, где жил господский сынок Николенька, который, как положено мальчику его лет, в это время крепко спал. Слуга при свете тускло мерцающей свечи постелил мне пушистую перину прямо на полу у его кровати. Я завалился на постель и мгновенно заснул.

Проснулся от яркого солнечного луча, который бил из распахнутого окна прямо мне в глаза, и не сразу вспомнил, где нахожусь. И вдруг увидел перед собой сидящего на кро-

вати мальчика, ненамного меня старше. Он удивлённо смотрел на меня большими глазами, не понимая, откуда я взялся в его комнате.

– Ты кто таков? – Наконец, спросил он.

Разговаривать с господами меня обучили ещё в раннем детстве. Побарахтавшись на перине, я, наконец, сел и вежливо ответил.

– Я – сын повара и белошвейки губернаторского дома из Тобольска.

– Из самого Тобольска? – Поразился Николенька.

Я очень удивился тому, что он знал о существовании моего родного города Тобольска и, несколько смущаясь, сбивчиво объяснил ему, как мы оказались в имении его родителей.

Глаза у мальчика загорелись. Он очень обрадовался тому, что мы пробудем у них несколько дней. Мы начали оживлённо разговаривать, сразу приняв общий тон.

– А почему ты как-то разговариваешь... Ну, не совсем так, как я?

Я понял, что он имеет в виду.

– Так потому что я – немец. И дядюшка, и батюшка мой – немцы. И матушка покойная... Мы все несколько не так говорим, как русские люди.

Николенька хотел ещё о чём-то спросить, но тут его позвали мыться и одеваться к завтраку, а мне велели идти в поварню, указав туда дорогу. Там я нашёл отца и дядю в большом

возбуждении. Оказалось, что кухня у Львовых совсем недавно осиротела: уж не помню почему, в ней в то время не оказалось повара. Для господ готовили случайно назначенные к тому люди из крепостных, а про выпечку вообще пришлось забыть. Всё было безвкусно и некрасиво. Потому-то хозяева имения очень обрадовались появлению кухонных умельцев, да ещё с такой рекомендацией, как многолетняя работа в губернаторском доме. Они тут же были приставлены к работе и, несмотря на усталость, не подумали отказываться. Им показалось полезным послужить Львовым, которые так любезно приняли среди ночи нашу экспедицию.

Ну, а мы с Николенькой целый день бегали по всему имению. Был он старше меня на неполных два года, очень быстрый и нетерпеливый. После обеда он должен был заниматься с учителем арифметики, и потому очень спешил показать мне все местные достопримечательности до начала урока. Из дома мы побежали на конюшню, оттуда в амбар, из которого прямо на птичий двор, в старый фруктовый сад, на заросший ряской пруд, а после мы даже на речку успели сбегать. Эти перебежки мне давались непросто. Во-первых, я был младше и не отличался ловкостью. А во-вторых, ещё не успел прийти в себя после столь утомительного и длительного путешествия из Сибири. У меня болели все мышцы, а про место, на котором сидят, и говорить нечего. К счастью, подошло время обеда, и мы расстались. Я вернулся в поварню. Обед уже начали разносить, по всему дому очень вкус-

но пахло, и я так захотел есть, что даже не заметил, что мои старшие родственники не то озабочены, не то обрадованы... Меня накормили, и я свалился тут же на какую-то скамейку и заснул.

Когда я проснулся, оказалось, что в поварне кроме меня никого нет. От случайно забежавшей горничной я узнал, что батюшка мой и дядя были званы в гостиную для разговора с господами. Не успела она договорить, как мужчины мои вернулись, очень довольные и возбуждённые. Из их слов стало понятно, что батюшке моему в этом доме предложено место повара, которого, как мы уже знали, не было в господском доме, считай, что недели три. Значит, мы с ним останемся в Черенчицах. А в Петербург вместе с Михаилом Фёдоровичем отправится один дядя Ганс, который будет служить в доме братьев Соймоновых, где Юрий Фёдорович только что рассчитал за какую-то провинность своего повара. Как я понял из разговоров взрослых, в таком решении хозяина имения Александра Петровича Львова немалое место занимало наше немецкое происхождение. Батюшке и мне было отдано настойчивое распоряжение стараться разговаривать с барышнями – старшими сёстрами Николеньки, а особенно с ним самим, по-немецки... Уже позднее понял я и другое преимущество моего пребывания в доме Львовых: Александр Петрович, как и многие господа того времени, считал, что его сыну будет очень полезно иметь тесное общение с мальчиком, своим ровесником, поскольку до сих пор он дру-

жил только со своими старшими сёстрами.

Не мешкая более, утром следующего дня Михаил Фёдорович и дядя Ганс, отправились в Петербург, а нас с батюшкой поселили в доме для слуг, выделив весьма большую комнату с просторными чуланами, в которые мы и разгрузили наш семейный скарб.

После ужина Николенька снарядом залетел в поварню, принялся меня тормозить и тискать.

– Я так рад! Я так рад! Только... – Он на мгновение остановился. – Батюшка велел тебе со мной по-немецки разговаривать. У нас здесь вокруг нет ни одного немца, а он очень хочет, чтобы я по-немецки, как по-русски, болтал. Ну, да это потом... Потом разберёмся.

Он пребольно хлопнул меня по плечу и убежал.

Так мы с батюшкой остались в Черенчицах на долгие годы.

Ну, вот. Это, так сказать – вступление, пролог всей истории. Да простит меня будущий читатель – старался я его писать, как можно короче, да всё равно получилось достаточно длинно. Но без этого трудно было бы мне объяснить, почему так тесно переплелись наши жизни с Николенькой, в последствии – с Николаем Александровичем Львовым.

Конечно, нынче детские годы в Черенчицах я вспоминаю обрывочно. Но хорошо помню старый деревянный господский дом, стоявший на холме. В нём было несколько ком-

нат, спальня, большая гостиная с красивой, как мне тогда казалось, мебелью, с вычурными канделябрами на каминной решётке... Но центром господского дома был, конечно, кабинет Александра Петровича, в котором он решал все внутренние дела усадьбы. Обставлен он был очень скромно, стояла в нём старинная дубовая мебель, на стенах висели какие-то картины с морскими баталиями, а на письменном столе, помню, были большие часы с золотыми стрелками. Но здесь на широких полках стояли книги. Что такое книга, я прекрасно знал: в губернаторском доме в Тобольске была целая библиотека, но количество книг в господском доме в Черенчицах поразило меня. Часть из них, конечно, была нужна хозяину для ведения хозяйства, различные календари, содержали советы на все случаи жизни. Но самое главное – в кабинете Александра Петровича была весьма полная библиотека для художественного чтения. Выбор был, как я теперь понимаю, основателен: и "Дон Кихот", и «Похождения Жилия Бласа», и "Робинзон-Крузо"... Став взрослее, Николай полюбил поэзию, и вскоре у отца в библиотеке появились Ломоносов, Сумароков и даже Херасков. Книги эти перечитывались всем семейством по нескольку раз – и хозяином, и хозяйкой, и барышнями – старшими сёстрами Николеньки, и им самим. Бывало, прочитает Николай какую-нибудь новую книгу, которая его заинтересует, и тут же тащит её мне. Я сначала-то с трудом читал по-русски, но с его помощью быстро освоил язык, который стал для меня родным.

А Николай не только мне книжку всучит, но и с чтением торопит, чтобы потом обсудить со мной особенно взволновавшие его места. Благодаря ему, я ещё в те времена приобщился к чтению, и теперь у меня самого огромная библиотека, и я часами пропадаю в книжных лавках в поисках новинок.

Игрушки во времена нашего детства были очень редки и дороги, а Николенька был горазд до их изготовления. Очень он был изобретательным ещё с детства: всё что-то придумывал и сооружал. О том, где взять нужное для осуществления своих идей, никогда не задумывался. Мог и стул сломать, чтобы его ножку для чего-нибудь приспособить. И подсвечник дорогой покрушить молотком, и сестринскую шкапулку в расход пустить – ни перед чем не останавливался... И очень сердился и раздражался, если у него что-то не получалось. От родителей за те проделки он редко получал внушение, матушка ему вообще всё прощала. Вот помню, был такой случай... Николаю уже лет двенадцать было. Задумал он на крыше дома ветряную мельницу соорудить, и ничегошеньки у него не получалось. Злился страшно. Меня совсем загонял: то слезть с крыши и что-то принести, то на чердак слазать за чем-то... Он уже в те времена был ловким и сильным мальчиком, а я, выросший в поварне возле пирогов и расстегаев, наоборот – упитанным и неуклюжим, и тогда совсем забегался. Мы на этой крыше почти целый день просидели, пока батюшка строго не велел Николаю на зем-

лю слезть. Но на следующий день он всё-таки эту мельницу доделал. Покрутилась она дня два, и он про неё забыл...

В наших играх, в бесконечных фантазиях Николеньки я неизменно отставал и даже плакал иногда с досады. Если я пытался его догнать, то непременно спотыкался и падал, если пробовал залезть за ним на дерево, на которое он взлетал без труда – обязательно с него сваливался и невольно вскрикивал от боли. Николенька безжалостно смеялся над моей неповоротливостью, но, если я всерьёз ушибался или моя ссадина покрывалась каплями крови, он пугался и сразу тащил меня к своим сестрицам. Девочки были очень добрыми. Они, немедля, начинали меня лечить и журить брата за неосторожные игры, обещая непременно рассказать о том родителям.

В общем, нашим приключениям в детские годы конца не было: мы то на речку за две версты от имения без разрешения убежим, то на крышу конюшни заберёмся и провалимся прямо вниз, к счастью, угодив в большую копну сена, а не на головы лошадей... Одна наша история мне особенно запомнилась. Дело в том, что от старого заросшего пруда начиналась большая заболоченная низина, куда нам строго настрого было запрещено ходить. Да разве Николеньке, матушкиному баловню (за то и простить её не грех: сынок-то родился после двух старших дочерей) невозможно было что-то запретить! Случилось это ранней весной. Только-только сошёл снег, и та болотистая низина угрожающее поблёски-

вала застоявшейся наверху водой. Уж не помню, что понадобилось Николеньке на том болоте, только потащил он меня на другую сторону пруда, к старой берёзе, что стояла у самого его края. И мы, как и следовало ожидать, провалились. Собственно, провалился я один. Тоненький и ловкий Николенька благополучно проскочил на сухое место, а я увяз. И чем более и сильнее я пытался выпутаться из тянущих вниз болотных оков, тем более погружался в хлюпающую жижу. Николенька, стоя на сухом месте под берёзой, несколько времени наблюдал за мной, отпуская, как всегда, язвительные шуточки, но вскоре понял, что дело серьёзное. Он стал осторожно пробираться обратно ко мне, протягивая навстречу руку... Помню даже сейчас его срывающийся от страха голосок, которым давал он мне приказания. Только до его руки я так и не дотянулся, а Николенька тоже провалился. Так мы и стояли рядом друг с другом довольно долго, вымешивая липкую болотистую грязь и увязая в неё всё глубже и глубже. Нам обоим уже было по-настоящему страшно. Ума не приложу, как бы вся эта история закончилась, если бы не увидел нас проходящий мимо старый кузнец. Помню, что приспособил он для нашего спасения какую-то толстую жердину, и мы оба, оставив обувь в болоте, оказались босиком на твёрдой почве.

Барчука кузнец отнёс на руках в господский дом, а я так и побежал в поварню босой по ледяной земле. Каждый из нас, конечно, получил свою изрядную порцию назиданий от

родителей, теперь уж чего вспоминать подробности!

Чем старше мы становились, тем более привязывались друг к другу. Родители Николая нашей дружбе не препятствовали, и ей не мешала наша совсем разная жизнь. Николай довольно быстро освоил немецкий язык и в присутствии своих родителей подолгу беседовал на самые разные темы с моим батюшкой. У сестриц его была гувернантка-француженка и, с грехом по пополам, кое-что по-французски он тоже умел. Он с удовольствием и интересом занимался с учителем, но четыре действия арифметики ему были уже скучны. Что до меня, то я постепенно входил во вкус приготовления всяческих блюд, мне нравилось, когда они у меня получались. Русскую кухню в доме Львовых любили, иногда выбор блюд на обед следующего дня подолгу обсуждался всем семейством: хозяин предпочитал жирные щи, хозяйка – суп с потрошками, барышни – чего-то третьего... Когда появлялись в доме редкие гости, мы вдвоём с батюшкой трудились от души, насколько хватало сил и умения. И всё-таки, выросший на кулебяках и пампушках, с огромным искусством испечённых дядей Гансом, я отдавал предпочтение именно приготовлению выпечки. Став постарше, я даже начал переписываться с дядей, выпрашивая у него рецепты особенно получавшихся у него пирогов, тортов и печенья. И, надо сказать, ему это было чрезвычайно лестно. Я до нынешних времён сохранил его письма с подробным описанием количества муки, яиц, сахара, корицы и всего прочего, входяще-

го в состав его прекрасной выпечки.

Надо сказать, что батюшка Николая не один раз возил его в Торжок, где у него ещё со времён прошлой военной службы был свой дом, и всегда находились какие-то дела. Ездил он со своими детьми и в Москву, где их радостно встречал дедушка – старик Соймонов, а в Петербурге они были не меньше трёх раз, где непременно останавливались у братьев Соймоновых. Принимали их всегда, как самых дорогих и близких людей, а дядя Ганс всегда отправлял с ними обратно в Черенчицы свои самые вкусные кренделя и печенья.

Николай возвращался из этих вояжей необычайно возбуждённый. И Москва ему очень нравилась, а про Петербург он вообще мог рассказывать часами. Я слушал его, раскрыв рот. Представлял себе красивые прямые улицы этого сказочного города, богатые дворцы и фасады новых трёхэтажных домов, сияющие купола церквей, широкую и полноводную Неву... Конечно, мне тоже хотелось там побывать, я часто об этом мечтал. А Петропавловская крепость, которую мне так живо описал Николенька, однажды мне даже приснилась.

Мы выросли, а родители наши, как и полагается, старели. Ранее всех начал прихварывать Александр Петрович, батюшка Николая. Всё больше времени проводил он в своей спальне, всё реже выходил к обеду, а после и вообще стали потчевать его в постели. Жена его, Прасковья Фёдоровна очень горевала, да что тут поделаешь! Разные доктора приезжали к больному, все связи были пущены в ход, да только

ничего не помогло – умер Александр Петрович, едва отметив свой пятидесятый год рождения. Было это в 1769 году.

Горе семейства трудно описать. Николай был очень привязан к отцу, почитал его. Очень он был в те дни обеспокоен за здоровье матушки. Но надо отдать ей должное, она держалась мужественно. Две дочери-невесты и сын, будущее которого они часто, как я знаю, обсуждали с мужем – вот были её главные заботы. Видимо, судьбу Николая они успели обговорить ещё до болезни Александра Петровича, но, я думаю, матушка никак не могла решиться расстаться с любимым сыном и отправить его в незнакомый и далёкий Петербург, где он был с детства приписан к Преображенскому полку. Прошло никак не меньше полугода после смерти Александра Петровича, когда проездом из Петербурга в Москву, куда он был назначен на новую должность, приехал в Черенчицы Михаил Фёдорович Соймонов. Посетив последний приют своего двоюродного брата, он уединился в гостиной с Прасковьей Фёдоровной. Долго-долго они совещались о чём-то, потом призвали Николая. И всем стало ясно, об чём у них было то совещание. Как потом я узнал, другу моему было объявлено материнское решение: он должен ехать в Петербург в Преображенский полк. Жить он будет в доме братьев Соймоновых, где, и до нынешнего отъезда Михаила Фёдоровича в Москву, места было предостаточно. Возражений по этому поводу у Николая не было никаких, он и сам всё время о том думал, о чём мне говорил много раз.

Но только высказал он матушке свою настойчивую просьбу, чтобы вместе с ним был отправлен в Петербург и я, близкий ему человек. Не смотря на свой юношеский возраст, я уже довольно искусен в кухонных делах и буду дяде своему первым помощником. Желание сына, конечно, было неожиданностью для матушки, но, посоветовавшись с Михаилом Фёдоровичем, она решила, что в просьбе Николая есть определённый резон, что он не будет на первых порах чувствовать себя совсем одиноким в огромном незнакомом городе... После этого было и моему батюшке объявлено это предложение, которое он тут же принял с готовностью и благодарностью. У дяди моего к этому времени появилось в Петербурге много подходящих знакомств и связей, коли тесно нам будет у одной печки в кухонном флигеле, так он найдёт место, куда меня пристроить. На том и порешили.

Михаил Фёдорович отбыл в Москву в радостном ожидании встречи со своим старым отцом и сестрой, ну, а мы с Николаем стали готовиться к скорому отъезду.

Собирались недолго. Прасковья Фёдоровна самолично руководила сборами любимого сына, напоминая ему то об одной забытой вещи, то о другой. Николай только посмеивался и отмахивался. Батюшка мой лишь беспокойно поглядывал на меня – приживусь ли в Петербурге, справлюсь ли с поварскими делами ...

Добравшись до Торжка, пересели мы в почтовую карету и, в радостном возбуждении, отправились в столицу. Дело бы-

ло в сентябре, погода всю дорогу стояла ненастная, а по прибытии в Петербург вообще накрыло нас сильнейшим ливнем. Как ни выглядывали мы по сторонам, стараясь увидеть что-нибудь замечательное, но сквозь плотные струи дождя и сгущающиеся сумерки ничего не могли разглядеть. Наконец, объявил нам ямщик, что мы прибыли по нужному адресу и находимся в центре Петербурга, на Васильевском острове, на улице, что называется довольно странно «Кадетской линией».

В доме Соймоновых нас ждали. Едва карета остановилась, как в ту же минуту выскочили из парадного под проливной дождь два молодых лакея и стали разгружать наши многочисленные сундуки и саквояжи. Николай расплатился с ямщиком, изрядно ему переплатив за услуги, и побежал в дом, а я следом за ним.

В вестибюле ожидал нас мой дядя, и тут же спустился по широкой лестнице и хозяин дома в шлафроке, за который, немедля, извинился. Обняв Николая, он повернулся ко мне. Из письма Прасковьи Фёдоровны он, конечно, был осведомлён о том, что Николай приедет не один. Не знаю, конечно, что она ему обо мне написала, но смотрел он на меня вполне приветливо.

– Позвольте, дядюшка, представить вам друга детства моего Карла Францевича Кальба... – Произнёс Николай.

Для меня такое представление хозяину дома было совсем неожиданным. Надо сказать, что всю нашу последующую

жизнь, которую провели мы с Николаем бок о бок, он именно так и представлял меня своим новым знакомым и друзьям. Далеко не сразу они узнавали, что я всего-навсего – повар, сын повара и белошвейки. Но к этой теме неоднократно придётся мне обращаться в своих записках.

А Николай продолжал.

– Карлуша родился и провёл своё детство в доме вашего батюшки в Тобольске. Впрочем, быть может, вы вспомните маленького немецкого мальчика – сына повара и белошвейки...

Юрий Фёдорович только кивнул в ответ. Разобравшись в попыхах со своими узлами и чемоданами, мы тут же разошлись. Юрий Фёдорович повёл Николая в свои апартаменты, приказав подать туда разогретый ужин. Дядя Ганс тут же отдал лакею распоряжения по поводу блюд, что заранее были подняты в буфетную. Хоть и очень устал я с дороги, но, прислушавшись, понял, что еду эту там следовало сначала разогреть, потом сервировать и только затем подавать в столовую. Лакей тут же бросился исполнять поручение, а дядя Ганс повлёк меня в кухонный флигель, чтобы там накормить, как следует. Он предложил мне сытный ужин, но на еду у меня уже не было сил. Не отказался я только от ароматного чая с любимыми дядюшкиными плюшками. Дядя Ганс показал мне мою комнату, здесь же в кухонном флигеле. Нас с ним разделяла только тонкая перегородка, мы даже могли перестукиваться друг с другом. Комната показалась мне

очень большой, с двумя окнами, выходящими в небольшой парк за домом. Вместе с дядей и лакеем мы перетащили из вестибюля мои баулы и чемодан. Я кое-как вымыл руки и лицо под рукомойником, подвешенным в самом углу комнаты над тазом, скинул с себя грязную дорожную одежду, плюхнулся в чистую постель и мгновенно заснул под аккомпанемент непрекращающегося ливня за окнами.

Проснулся я довольно поздно. Разбудил меня луч неяркого осеннего солнца, бьющего мне прямо в глаза. Я вскочил с постели и бросился к чисто намытому окну. От вчерашнего ливня остались только огромные лужи среди парковых деревьев, которые уже заметно подсушили свою намокшую листву. Осень подкрасила её в свои жёлтые тона, и небольшой сад, куда выходили окна моей комнаты был очень красив. По небу неслись серые облака, но солнце упорно пробивалось сквозь них, обещая хороший день. Это потом я понял, что в Петербурге солнце – несчастный гость и его появлению не стоит верить слишком доверчиво. А в тот момент я был просто счастлив тем, что столица приняла нас так приветливо.

Дядя Ганс уже всюду трудился на кухне, ему помогали две пожилые кухарки. Он снова радостно обнял меня и сказал, что Николай в отличие от меня вскочил ни свет, ни заря, прибежал сюда на кухню, чтобы выпить чаю, и сейчас в ожидании завтрака, который назначен Юрием Фёдоровичем на десять часов, гуляет где-то рядом с домом. Я хотел было бежать искать его, но дядя меня не отпустил, пока я, как сле-

дует, не поем. К тому времени и десять часов пробило. Лакеи унесли завтрак наверх в буфетную, а я нетерпеливо стал ждать, пока господа позавтракают.

Дядя очень хотел бы сразу посвятить меня во все кухонные дела и проблемы, но хорошо понимал, что пока я не осмотрюсь и не пойму, в какой город приехал, и как славен Петербург, я ничего не смогу понять из его объяснений и буду чувствовать себя, словно с завязанными глазами. С некоторым сожалением, он отпустил меня на сегодняшний день. По его словам, Юрий Фёдорович обещал Николаю большую пешую прогулку по городу, а мой преданный друг попросил разрешения, чтобы и я составил им компанию. Как я довольно скоро понял, в семье Соймоновых не было привычки демонстрировать сословные различия. Юрий Фёдорович несколько не удивился и возражать не стал.

Итак, мы, наконец, сошли с парадного крыльца. Здесь нас ждал добротный экипаж со щеголевато одетым молодым кучером. Но мы в него не сели – у Юрия Фёдоровича был для нас совсем другой план. Он подозвал кучера и дал ему строгое наставление, где и в какое время ждать нас в городе, чтобы мы могли без препятствий вернуться домой к обеду. Кучер покивал согласно и занялся своими лошадьми, а мы отправились в наше первое путешествие по городу, который стал на всю последующую жизнь для нас с Николаем дорогим и близким. Я не узнавал своего друга: он сиял, глаза выражали восторг и ожидание, он не мог спокойно идти рядом

со своим дядей – всё забегал вперёд и заглядывал ему в лицо. Как я уже писал, мой новый хозяин получил архитектурное образование по гражданскому строительству и служил в Конторе строений под началом всесильного канцлера Бецкого. О том человеке я ещё не раз буду писать, потому сейчас повременю. Юрий Фёдорович рассказывал нам о Петербурге с упоением. Оказалось, что столица наша расположена на многих больших и малых островах, и что мы сейчас находимся на одном из самых главных – Васильевском. Пётр Великий именно этот остров хотел сделать центром города, но с годами многое в этих планах изменилось, и центр столицы перемещался то в одну сторону, то в другую. Но по пути нашего следования по Васильевскому острову Юрий Фёдорович показывал нам такие большие и красивые дома важных особ, что было понятно, что знать и в последующие годы селилась именно здесь.

А теперь, мой дорогой читатель, представьте себе, каким диким существом прибыл я в Петербург. Мне минуло восемнадцать лет – но кого я видел в Черенчицах? Слуг дворовых? За редкими гостями Львовых и то из кустов наблюдал бывало, а за пределы имения вообще никуда не отлучался. Правда, ещё в раннем возрасте бегали мы с Николенькой к его дядям в соседнее имение в двух верстах от Черенчиц. Но я обычно ждал своего друга в саду, пока он посещал своих родственников. А уж в отрочестве у каждого из нас были свои заботы, и я редко покидал поварню.

И вот такое деревенское чудо оказалось вдруг в Российской столице! Вы, хотя бы на минуту, можете представить моё состояние?!

Дядя с племянником шли впереди, а я, стараясь быть деликатным, – в нескольких шагах позади, но не слишком отставать от них. Легко сказать – не отставать! Ведь меня всё поражало! Я пялился сразу во все стороны, распахнув глаза и рот. Меня занимало всё вокруг – и господа в экипажах, и слуги, спешившие по господским делам, и чиновники, которых я угадывал по особому напряжённому взгляду и озабоченному виду... Я постоянно спотыкался, кого-то толкал и кому-то наступал на ногу. Извинялся и пускался догонять ушедших далеко вперёд Юрия Фёдоровича и Николая. Один раз я страшно испугался, поскольку совсем потерял их из виду... Помню, как вышли мы, наконец, на берег Невы и, вдруг оказались словно посреди гигантской стройки. Я никогда в жизни не видел такой толпы простонародья. Повсюду, со всех сторон стучали молотки, гремели кувалды, скрипели цепи и звенели пилы. На набережных рабочие разгружали десятки прибывших в город барок и плотов. Огромные трюмы были распахнуты, и даже отсюда с набережной я видел, что из них выгружают множество крупной, блестящей чешуёй рыбы. Всё пространство Невы было буквально забито многочисленными парусными судами, лодками, плотами, барками, гребными катерами, до бортов загруженными строительными материалами.

Соймонов объяснил нам, что город сейчас снабжается, как Лондон и Амстердам – водным путём, что за день в Петербург прибывает иногда более пяти тысяч барок и столько же плотов, что все они теснятся в городских каналах и протоках.

Я теперь боялся слишком отставать. Николай же не умолкал ни на минуту – всё спрашивал о чём-то своего дядюшку, услышав ответ, вопил радостно, как ребёнок, и выражал свой восторг самым нелепым образом.

– Ты слышишь, Карл? Ты слышишь?!

И сильно хлопал меня по плечу и хватал за локоть. Я, конечно, всё слышал, но не всё тогда понимал.

А Николай уже снова тормозил Юрия Фёдоровича.

– Дядюшка, а это что за здание? Почему «Двенадцати коллегий»?

И Юрий Фёдорович терпеливо ему объяснял, что в этих двенадцати коллегиях находятся главные административные учреждения России.

– Ты слышишь, Карлуша?! В этом здании решается вся судьба нашего государства!

И опять пребольно хлопал меня по плечу.

Мне пришлось всё время перебегать от него то на одну сторону, то на другую: иначе я точно лишился бы одной руки.

Но, честно говоря, здание «Двенадцати коллегий» меня тогда мало занимало: я не сводил глаз со сверкающего шпиля

Петропавловской крепости, которая снилась мне ещё в годы отрочества в Черенчицах.

На противоположном берегу реки, мы увидели значительную часть новой набережной, одетой в пёстрые коричневые каменные плиты. Камень этот, Юрий Фёдорович назвал «гранитом»... У самой кромки воды, сгрудились какие-то рабочие – наш провожатый объяснил, что это гранитчики, обладающие большим умением в своём ремесле, они устанавливают эти красивые каменные плиты вдоль берега Невы...

А слева от Адмиралтейства, о котором тоже последовал подробный рассказ нашего руководителя, стоял новый Зимний дворец. Я вообще никогда в жизни не видел больших зданий – а тут – такое мощное, нарядное, с огромными окнами, и с обилием скульптур наверху... Я даже не понял сначала, что это за фигуры стоят по краю крыши. Николай объяснил мне, что это – статуи... Статуи! Я в первый раз услышал тогда и это слово.

Не спеша, шли мы вниз по течению реки к плашкоутному мосту, чтобы перейти на Адмиралтейскую сторону. Иного пути тогда не было. И пока мы проходили по мосту, нас всё догоняли и обгоняли телеги и повозки, громыхали тяжёлые подводы, груженные всем, что необходимо для строительства: брёвнами, досками, какими-то булыжниками, цепями и бочками с гвоздями и канатами.

Наконец, вышли мы на берег у здания Сената. Площадь

возле него была совсем небольшой, свободной и, казалось, только ждала своей очереди, чтобы загроыхать, так же, как шумела река. И мы не ошиблись.

– Вот здесь на этом месте, – сказал Юрий Фёдорович, – императрица повелела установить величественный монумент Петру Великому...

– Это тот самый, который создаёт знаменитый французский ваятель? Я забыл, его фамилию...

Я с удивлением взглянул на своего друга: как всегда, Николай знал больше меня.

– Его фамилия Фальконе. – Кивнул дядя. – У нас его на русский манер зовут «Фальконетом». «Профессором Фальконетом».

– И вы с ним знакомы, дядюшка?

– Ну, моё знакомство с ним довольно шапочное: при встрече раскланиваемся, но не более того. Я всё-таки в Конторе строений служу, вот там и встречаемся изредка.

– И вы никак не можете меня ему представить?

Юрий Фёдорович засмеялся.

– Не спеши, мой друг. Фальконет, хоть и прожил здесь три года, по-русски не понимает, или делает вид, что не понимает. Ну, а ты, дружок, насколько мне ведомо, по-французски у сестринской гувернантки обучался, опозориться можешь. Так что надо тебе знакомство с Фальконетом начать с изучения этого языка коварного, без него в Петербурге сейчас никуда.

Я опять покосился на друга. Он нисколько не обиделся.

– Я этот язык, чтоб его! выучу скоро! Вот увидите – очень даже скоро...

Юрий Фёдорович обнял его за плечи.

– Я в том нисколько не сомневаюсь, уверен, что так и будет. А для того, чтобы обучение твоё шло особенно активно, скажу, что весной Фальконет будет представлять на суд императрицы, так называемую, «Большую модель» своего монумента в полном объёме. Эта модель должна будет апробована не только государыней, но и показана всей публике. Вот тогда и мы будущий монумент увидим и найдём повод с Фальконетом поговорить, если ты готов к тому будешь.

– Буду! – Сверкнув глазами, упрямо произнёс мой друг.

Я-то знал, что значит этот металлический блеск его глаз.

Юрий Фёдорович поведал нам историю гигантского Громкамня для подножия будущего монумента. С огромными усилиями, благодаря какой-то чудо-механике был он вытащен из лесной чащи и болот и теперь ждёт у какой-то пристани на Финском заливе, откуда будет переправлен по воде на эту площадь. Но для того, чтобы доставить его сюда, надобно построить специальное устойчивое судно, а это требует большого умения кораблестроителей и времени.

Николай очень заинтересовался этой самой механикой, благодаря которой гигантский камень из болота вытащили, дядюшка обещал ему всё подробно изобразить на бумаге.

Впервые тогда услышал я фамилию знаменитого камен-

щика и гранитчика Вишнякова. Услышал её – и тут же забыл! Разве мог я представить, что пройдёт немало лет, и фамилия эта в моей судьбе сыграет такую решающую роль. Но я запомнил, что именно этот гранитчик нашёл для подножия Фальконетова монумента гигантскую скалу. Этот талантливый человек был хорошо знаком петербургским инженерам, поскольку именно артель, которой он руководил, облицовывала гранитом набережные Невы и городских каналов. Именно его люди осенью умудрились погрузить эту фантастическую тяжесть на построенное судно, чтобы переправить скалу в Петербург. Тогда из этого рассказа я мало что понял, а ещё меньше запомнил. Вспомнил я о Семёне Вишнякове и узнал его историю в мельчайших подробностях почти десять лет спустя.

А тем временем я внимательно оглядывал площадь, изо всех сил пытаюсь представить, каких размеров должен быть этот будущий монумент, который Юрий Фёдорович назвал «величественным». Всё свободное пространство передо мной с двух сторон было словно зажато старым зданием Сената, земляным валом и каналом, окружавшими Адмиралтейство. Каким образом будет он здесь втиснут, я не мог даже вообразить.

Не успев прийти в себя от долгой дороги из Торжка, мы с Николаем скоро устали от пешей прогулки и ярких впечатлений от столицы. Соймоновский кучер ждал нас у здания Сената, мы очень ему обрадовались, уселись в экипаж, и от-

правились обратно на Васильевский остров, где Юрия Фёдоровича ждала к обеду молодая супруга.

Так началась наша долгая Петербургская жизнь.

На следующее утро я проснулся от громкого стука тяжёлых капель осеннего дождя по подоконнику. Небо было сплошь затянуто серыми тучами, словно и не было вчерашнего солнечного дня. Петербург открыл нам своё окно, чтобы мы успели полюбоваться им – и снова плотно захлопнул, закрыв от нас город плотными шторами осенних туч.

Наступили будни нашей жизни в столице. Николай после завтрака отправился в Преображенский полк на дядюшкином экипаже. Я проводил его до парадных дверей. Он заметно волновался и не пытался этого от меня скрыть.

– Ну, вот, Карлуша... Начинается новая жизнь. Совсем новая. И что меня ждёт – одному Богу известно...

– Вечером после ужина ты непременно зайди ко мне. – Покачал я головой. – Расскажешь, что и как...

– Это обязательно. У меня сейчас нет человека ближе, чем ты...

Мы обнялись. Николай исчез за тяжёлой дверью, которую швейцар осторожно прикрыл за ним. Я поспешил на кухню, чтобы приступить к своим обязанностям, встав к плите рядом с дядей Гансом. Но, войдя в кухню, я потерял дар речи. У меня глаза разбежались от изобилия всего, что я там увидел. Увидел я несметное количество медных и железных котлов – семиведёрных, четырёхведёрных, в одно ведро, в пол-

ведра, а также горшки для небольшого количества еды. На полках стояли аккуратно сложенные друг на друга медные и железные сковороды, с ручками и без оных. Первый раз в жизни я лицезрел различные соусницы, салатницы, медные формы для желе и пудингов, для разных пирожных. Высокой стопкой стояли, сложенные друг на друга, корзины для хлеба из папье-маше, на полках и стеллажах блестели начищенные кофейницы и шоколадницы. Не позднее следующего утра я уже знал, что из кухонного флигеля в господский дом носили жидкую пищу в кастрюлях, так называемых, рассольниках с крышками, в супницах, бульонницах, а твёрдую – на блюдах разных размеров и форм. Названия они имели соответственные: «гусиное», «лебяжье» и прочие... Поварня в доме Соймоновых была, по моим представлениям, огромной. В доме у Львовых всё было просто: и поварня небольшая, честно говоря, даже тесноватая, и посуда для приготовления пищи довольно неказистая, и котлы не отличались разнообразием. Прежде всего меня здесь поразила прекрасная металлическая плита, вымытая и отполированная. Я был просто потрясён: такой красоты я в жизни не видел! Всё вокруг блистало чистотой. От дяди Ганса я впервые услышал слово «кухня», которое навсегда сменило в моём словаре слово «поварня». Оно было немецкого происхождения, и потому легко запомнилось. Конечно, когда моё кондитерское искусство стало известно в Петербурге, и меня начали приглашать для временной работы в дома знатных господ, мне много раз

случалось работать на кухнях куда более богатых, значительно больших объёмов и размеров, с огромным количеством утвари и разнообразных кухонных приспособлений. Но в тот момент я чувствовал себя словно в пещере Али-бабы. Дядя Ганс довольно смеялся моему восторгу. Он подробно объяснил мне всё устройство кухонного предприятия, и как пользоваться голландской плитой, которую я видел первый раз в жизни. В поварне Черенциц, как и во всей провинции, пищу готовили в русской печи, а здесь была плита с открытым огнём и духовками. Впрочем, я справился с этой задачей довольно скоро. Мы с дядей сразу договорились, что друг другу мешать не будем, вокруг одной кастрюли суетиться вдвоём нет никакого смысла. Я убедил его, чтобы мы разделили свои обязанности – он будет, как и прежде, с помощью своих кухарок заниматься приготовлением закусок, первых и вторых блюд, а я, под его руководством, начну по-настоящему осваивать приготовление выпечки и десертов.

Я тут же получил необходимые сведения по поводу вкусов нашего хозяина. Любой суп на его обеденном столе должен непременно сочетаться с пирожками и кулебяками. Ещё в Тобольске в раннем детстве, в доме отца-губернатора любил Юрий Фёдорович немецкую кухню, изготовлением блюд которой так славились в те годы мой дед и оба его сына. Ну, а более всего наш хозяин обожал знаменитый немецкий пирог баумкухен. Для тех немногих, кто не знаком с этой выпечкой, объясню вкратце. Это особый вид пирога или тор-

та, кому как нравится его называть, когда специальный деревянный валик обмакивается в жидкое сдобное тесто, поджаривается на огне и снова обмакивается в тесто... И так несколько раз. Именно потому торт этот на разрезе напоминает срез дерева, отсюда и его название: «баум», что значит по-немецки «дерево».

Вот с этого пирога и началась моя Петербургская школа кондитера. Теперь, когда у меня знаменитый в Петербурге ресторан, где помимо немецкой выпечки в изобилии есть и французская, и итальянская, и греческая, и русская, я с улыбкой вспоминаю свои первые шаги на этом поприще. Нынче, конечно, я сам у плиты не стою: у меня служит достаточное число прекрасных специалистов нашего дела, начиная с Никиты Иваныча, попавшего в мой дом ещё мальчишкой Никиткой. А руководит этой дружной кухонной артелью никто иной, как мой сын Николай, который нисколько не уступает мне в своём профессиональном умении. Впрочем, за работой своих кондитеров и поваров я слежу зорко по-прежнему: и любой совет дам и новый рецепт придумаю – только бы мой ресторан не потерял авторитет и уважение у самых взыскательных и требовательных петербуржцев...

Первый день на кухне пролетел совсем незаметно. У нашего хозяина в тот вечер были гости, и пирожки, приготовленные мной, тут же были направлены к столу. А первый мой баумкухен поспел как раз к чаю. Он получился на славу. Дядя Ганс, хоть и руководил мной при его изготовлении, но

меня нахваливал – мы оба были довольны. Но я всё поглядывал в окно, ожидая возвращения Николая. Очень беспокоился о том, как у него сложился первый день. Когда за окном уже совсем стемнело, я услышал, как подъехал Соймоновский экипаж. Закончив свои дела в кухне, я поспешил в свою комнату и с нетерпением стал ожидать своего друга.

Он пришёл нескоро, выглядел усталым, но еле сдерживал возбуждение.

– Знаешь ли, Карлуша, дядюшка никак не желал меня от ужина отпустить. Очень ему хотелось представить меня своим гостям. Ну, а я и половины лиц не запомнил, всё про своё думал... Едва все начали расходиться, я тут же к тебе побежал...

– Ну рассказывай, что в полку! Да, сядь ты, наконец, что ты всё по комнате ходишь!

Николай плюхнулся в глубокое кресло и тут же начал говорить.

– Ну, в полку, как в полку. Меня к бомбардирской роте приписали. Но самое главное, знаешь, что? – Николай помолчал и радостно выпалил. – В полку только что школа открылась! Самая настоящая школа, ты представляешь?

– Школа? – Только и смог я повторить, ничего не понимая.

– Ну, начну сначала... Именно школа. Вот для таких бестолковых неучей, как я. Офицеры должны быть образованными и грамотными людьми. Взял полковник мою челобит-

ную, прочитал, крикнул, хмыкнул – видать, наделал я в ней ошибок немало, не подумал прежде дать дядюшке прочитать... Вот он и спрашивает, где я учился... А мне и ответить ему нечего, пробормотал что-то себе под нос. Полковник только и сказал: «В школу!». Тут же зачислили меня в специальную кадетскую роту, снабдили аспидной доскою и грифельем, и отвели в помещение, где обучались сложению подобные мне недоросли. Так что, Карлуша, начинаю я образовываться.

Я слушал, и в себя прийти не мог. И даже кое в чём завидовал своему другу. А он всё рассказывал и рассказывал. И никак не мог остановиться.

Помимо российской грамматики будущие офицеры в этой школе будут изучать математику, артиллерию, фортификацию, географию, рисование, фехтование, французский и немецкий языки и «прочие приличные званию их науки». Как после выяснилось, преподавание языков было поставлено в той полковой школе настолько серьезно, что некоторые молодые люди, овладевшие ими в совершенстве, могли потом служить в Коллегии иностранных дел, как и мой незабвенный друг.

Что касается немецкого языка, то тут у Николая беспокойства не было. Благодаря моим родителям, да и мне в значительной степени, разговаривал он на нём довольно бойко. Надо было заняться всерьёз только немецкой грамматикой. Она ведь у нас-немцев не проще, чем русская. А вот с фран-

цузским языком предстояло немало потрудиться. Несколько слов, перехваченных в Черенчицах у гувернантки, в изучении языка погоды не делали. И тут Николай неожиданно предложил.

– Ты, Карлуша, в изучении французского языка должен мне стать первым помощником!

Я на него глаза вытаращил.

– Это, каким же образом?

– Очень простым... Мы будем вместе заниматься. Язык хитрый в произношении, себя-то не услышишь, надо, чтобы всё время кто-то поправлял, если что неправильно. Я буду тебя слушать, а ты меня... На занятиях я буду очень стараться запоминать правильное произношение слов. Слух у меня, ты знаешь, великолепный. Если ты будешь что-то неточно произносить – я сразу услышу и тебя поправлю, и сам запомню. Это и для тебя не просто развлечением будет: в Петербурге все лакеи скоро будут по-французски разговаривать. А у тебя должность такая, что в любой момент могут к господам вызвать. Вот нынче дядюшкины гости нет-нет, да и переходили на этот язык. Я изо всех сил притворялся, что понимаю, о чём они рассуждают. Дядюшка на меня посмотрит хитро так и, сдерживая улыбку, отвернётся. Честно говоря, стыдно мне было.

Так мы и порешили: своими офицерскими науками Николай будет с превеликим усердием заниматься в одиночестве, а по вечерам являться ко мне для занятий французским.

Дядя Ганс сообщил мне, что ещё до моего приезда был у них с хозяином договор. Поскольку мой дядя и без моей помощи много лет прекрасно справлялся на кухне, меня в дом приняли на определенных условиях, которые заключались в следующем: в течении года дядюшка будет меня обучать тонкостям кондитерского искусства и одновременно искать мне место в приличном доме для самостоятельной работы. Тут, конечно, многое будет зависеть от моего личного усердия. Я, конечно, это прекрасно понимал и очень старался, как можно скорее, постичь все тонкости кухонной науки, всерьёз готовил себя к самостоятельной работе в незнакомом доме. Не грех и похвалиться: успехи мои на этом поприще вскоре стали весьма заметны, что не раз отмечал и Юрий Фёдорович, и самый строгий мой критик – дядя Ганс.

Конечно, немалую роль в добром ко мне расположении Юрия Фёдоровича играло то, что ко мне был так привязан Николай, что вырос я в доме его родителя в Тобольске и что знал он меня с раннего детства. Жена его в хозяйственные дела мужа не вмешивалась и, как мне сказал дядя Ганс, отнеслась к моему пребыванию на кухне безразлично. Впрочем, она была в положении и заботы о собственном здоровье, видимо, занимали её значительно сильнее, чем появление в кухонном флигеле ещё одного повара. Что же касается французского языка, то к весне мы с Николаем объяснялись на нём, кажется, довольно, сносно. Конечно, я в те годы французскую грамматику не учил, всё воспринимал на

слух, по наитию усваивал. Ну, а Николай и немецкий язык во всех тонкостях познавал и французским всерьёз занимался. А к лету вообще решил за итальянский взяться. Французский язык, даже на том уровне, который я тогда постиг, мне, и в самом деле, оказался весьма полезен. В те годы Париж для России стал законодателем моды. Николай оказался прав – из Франции выписывали не только поваров и кондитеров, но даже лакеев. Конечно, немецкая и русская кухни со столов господ не исчезали, но в большинстве домов блюда и вина были преимущественно французскими. Дядя Ганс за время жизни в Петербурге стал большим авторитетом среди именитых столичных поваров. Он мне с гордостью рассказывал, что друзья и знакомые много раз уговаривали братьев Соймоновых уступить им своего повара, но те в ответ только вежливо улыбались и не соглашались ни на какие деньги, которые им за то предлагали. Но, тем не менее, дядя мой был частым помощником на кухнях их друзей, когда в домах известных людей намечался большой съезд гостей по случаю каких-то важных семейных событий – будь то свадьба или похороны, а местные кулинары не справлялись с нагрузкой. И потому был он в центре всех кухонных событий того времени. С восхищением и священным трепетом слушал я его рассказы о застольных ритуалах, которые мне были до сих пор неведомы. Особенно изощрялись в то время именно кондитеры: традиционные русские ватрушки, калачи и бублики, подаваемые прежде к чаю, заменялись пирож-

ными, бланманже, муссами и желе. На столы выставлялись сложнейшие многоярусные торты из марципанов и бланманже, из ванильного мороженого и марципановой мастики сооружались целые античные храмы. Дядя Ганс довольно комично, но и не без профессионального уважения рассказывал мне в подробностях, как повара-французы изо всех сил стараются поразить гостей своим искусством.

Я, конечно, в ужас пришёл от этих рассказов, почувствовав свою беспомощность в деле, в котором считал себя специалистом.

– Дядюшка, – взмолился я. – Вы тоже умеете сооружать эти античные храмы и замки? Вы меня научите этому искусству?

Дядя Ганс только грустно улыбнулся в ответ.

– Что ты, друг мой! Тут я также беспомощен, как и ты. Для того, чтобы такие дворцы на обеденном столе сооружать, иноземные кондитеры не только рисованием и черчением обучались, но даже архитектуре. Куда мне до них! Я себя успокаиваю тем, что по блюдам немецкой и русской кухни меня сложно перещеголять. В Петербурге по этой части осталось не так много умельцев, один из самых сильных стоит перед тобой. Хотя иностранцы изо всех сил стараются нас, здешних, и в этом искусстве обогнать: изобретают такие фантастические закуски, что гости, потеют и пыхтят, стараясь правильно выговорить их названия. Чем шире у гостей распахиваются глаза и вытягиваются физиономии, тем

счастливей чувствуют себя хозяева. Учти, в богатых домах нынче именно кухня стоит на первом месте, а не роскошь и убранство, как было раньше. Такие званые обеды называют нынче «артистическими» или «гастрономическими», а хозяев при том зовут «гастрономами». Ты не поверишь, но именно хозяин-гастроном – главный составитель и выдумщик блюд для застолья в своем доме. А женщины, между прочим, к этому ритуалу не допускаются, они служат только для украшения вечера. Но ты не расстраивайся: твои пирожки да баумкухен всех гостей просто в восторг привели. А захочешь нынешним кондитерским фокусам научиться – то тебе, как говорится, и карты в руки. Учись.

Я чувствовал, какая ответственность ложится на мои плечи, и обучался кухонному искусству с самым большим прилежанием.

В наших трудах и прошла первая зима в Петербурге. Что сказать вам, любезный читатель, о своём друге? Он словно решил догнать всё, что не смог получить в отрочестве и в ранней юности. Мне иногда казалось, что он хочет обогнать время. Николай приходил ко мне усталый от занятий, но неизменно возбуждённый. Более всего интересовала его математика, но, помню, однажды был и такой эпизод.

Мы хорошо позанимались с ним французским и разошлись уже за полночь. Не могу сказать, что мне так уж легко давались эти поздние бдения. Юрий Фёдорович слыл человеком хлебосольным, его дом частенько был полон гостей, и

на кухне дел хватало и для меня, и для дяди Ганса. Навертевшись у плиты, и отдав последние силы занятиям французским – Николай меня совсем не щадил, (как и себя, впрочем), я замертво сваливался в постель. Но в ту ночь почему-то никак не мог заснуть – возможно, слишком устал. А, может быть, беспокоила Петербургская погода, я долго не мог к ней привыкнуть. За окном стояла непроницаемая мгла, валил истинно Питерский мокрый снег, и звонко притом стучал по подоконнику. Именно поэтому я не сразу услышал осторожный стук в дверь. Вам то известно, любезный читатель, что иностранных поваров – свободных людей в господских домах уважают и хозяева, и, тем более, слуги. Это относилось и ко мне, тем более, что еду для людской готовил я, нисколько не уменьшая своего усердия при этом. Я удивился, встал, и, накинув халат, распахнул дверь.

На пороге стоял заспанный лакей. Извиняющимся тоном он сообщил мне, что Николай Александрович не спят, занимаются, и очень просят меня прислать ему чаю и каких-нибудь пирожков или ватрушек. Я отпустил слугу, сказав, что принесу всё сам.

Быстро одевшись, я, спустился в кухню. Ещё тёплый чайник быстро закипел. Я накрыл поднос и пошёл к Николаю. Кое-как постучался, поскольку руки были заняты, и он тотчас же распахнул дверь, и, конечно, очень обрадовался, увидев за ней меня. Мне бросился в глаза его письменный стол, на котором вместо скатерти была расстелена огромная гео-

графическая карта. Поверх неё стоял большой глобус и лежал раскрытый, совсем новый атлас.

Поднос ставить было некуда, мы сдвинули стулья. Я растелил на них полотенце и поставил чашки (ничтоже сумняшеся, я взял с собой две штуки), и приготовил всё для чаепития. Николай жадно проглотил пару пирожков, выпил чаю, бросив в него приличный кусок сахара, и вскочил с места так, словно это была не глухая ночь, а самый расцвет дня. Быстро ополоснув руки под ручкомойником, насухо их вытер и потащил меня к столу. И, ткнув пальцем в нужное место на карте, пояснил.

– Вот смотри, Карлуша – вот мы где находимся... Здесь Петербург... А вот здесь – Москва... А тут – Торжок... А вот это всё на карте – вся наша Россия...

Я изо всех сил старался понять, то, что он мне показывал и объяснял. Не сразу представил себе, что такое – масштаб, а когда Николай начал вертеть передо мной огромный глобус, который я вообще видел в первый раз в жизни, в моём мозгу тоже всё завертелось. Он взглянул на меня, засмеялся.

– Ладно, дружок, ступай почивать... Я тебя сегодня совсем замучил. Я так тороплюсь, в школе-то занятия только на восемь месяцев рассчитаны.

– Всего-то? – удивился я.

– Вот именно. Только до мая. А после будут занятия на плацу. Ты представляешь меня марширующим? Ну, ещё будут занятия по верховой езде и прочие пустяки. А потом ещё

два года надо отслужить, без того из армии не уволиться. Потому мне и нужно за эти восемь месяцев узнать, как можно больше, и постараться стать более или менее образованным человеком. Я хочу многое сделать в своей жизни... Кабы только успеть!

Эх, знал бы мой незабвенный друг, как мало лет ему отпущено в этой жизни! Но успел он, действительно, очень много. Фантастически много для одного человека.

Миновало Рождество и начал, набирая скорость, прибавляться день. Позднее стали зажигаться масляные фонари на улицах и канделябры в богатых домах. Весна входила в Петербург всё увереннее. Мокрый зимний снег сменился затяжными дождями, иногда даря жителям столицы неожиданные солнечные дни. Май подступал всё ближе. Всё нетерпеливее ждал его мой друг. Вы забыли, мой читатель? Ведь именно в мае Большую модель своего будущего монумента должен был выставлять на суд императрицы и горожан французский скульптор Фальконет. Николай о ваятеле не забывал ни на минуту. Так же, как и я, и как большинство петербуржцев, он никогда не видел даже самых малых памятников, не говоря о таком огромном, который создаёт этот художник. Надо сказать, что за прошедшую зиму дела Конторы строений несколько сблизили Соймонова и Фальконета. Юрий Фёдорович теперь частенько бывал в портретолитейном доме, найдя, видимо, общий язык с этим непростым человеком. От дядюшки узнавал Николай о том, как движет-

ся работа по подготовке Большой модели, какие сложности, какие проблемы возникают при этом, как талантлива ученица скульптора мадемуазель Коло, оказывается, именно она вылепила голову Петра, которая Фальконету почему-то никак не удавалась. И, конечно, именно я после этих разговоров с Юрием Фёдоровичем был первым слушателем своего друга. От него узнал я, что гениальный скульптор Фальконет – человек вздорный, желчный, раздражительный, что перессорился он со всем Петербургом, но самые тяжёлые отношения у него сложились с самим канцлером Бецким, директором Конторы строений.

А Бецкой в то время был вторым человеком после императрицы. Он – знатный вельможа, богатый, образованный, ну, а Фальконет происходит из простолюдинов, любит повторять, что он сын столяра и внук башмачника, чем в нашей чванливой столице гордиться не пристало... Вот они, как говорится, и «скрестили шпаги». Я, конечно, не судья ни тому, ни другому, и в том конфликте не мне, кухонному работнику, разбираться. Но, как я понимаю, Бецкой, отвечая за всё строительство зданий и сооружений не только в Петербурге и в Москве, но и по всей России, не без оснований считал себя самым главным человеком в этих вопросах. А Фальконет привык работать во Франции как художник, совершенно свободно, без всяких ограничений, принимать самостоятельно решения, какой быть скульптуре или тому же монументу, и приходил в ярость, когда Бецкой навязывал ему ка-

кие-то свои идеи. Никто иной не мог быть им судьёю кроме императрицы. Как рассказывал Юрий Фёдорович, со слов близких ко двору людей, она приняла Фальконета поначалу весьма любезно, поскольку был он рекомендован ей лично Дидеротом, бывшим с ним в большой дружбе. Ну, а потом государыня охладела к нему, стала только переписываться с ним, отшучивалась небрежно, совершенно не вникая в ссоры двух гигантов: она была занята совсем другими делами – то чума в Москве, то война со шведами, то Пугачёвский бунт... Да и бесконечное нытьё и жалобы скульптора, видимо, ей изрядно надоели. По городу ходила её любимая поговорка, которую она говаривала в подобных случаях: «Не прав медведь, что корову съел, но не права и корова, что в лес забрела». Но, так или иначе, Большая модель монумента, наконец, была готова.

Однажды поздним вечером Николай буквально ворвался ко мне в комнату. В руках он держал газету «Петербургские ведомости», победно размахивая ею над своей головой.

– Смотри, Карлуша, что здесь написано! – И прочитал внятно, выделяя каждое слово. – «19 мая с 11 часов до 2-х и после обеда с 6-ти до 8-ми часов вечера и впредь две недели показываема будет модель монумента Петру Великому...».

Капризный и вздорный характер Фальконета несколько не смущал Николая: он по-прежнему бредил знакомством с ним. Надо знать, что мой друг обладал удивительным качеством привлекать к себе людей. В молодости, кто бы ни по-

знакомился с ним, непременно попадал под его обаяние и старался держаться к нему поближе. А уж если сам Николай угадывал в новом знакомце человека неординарного, талантливого, в чём бы то ни было, тот сразу и на долгие годы попадал в круг его самых близких друзей. Такой уж был Николай Александрович Львов.

Мы не сразу отправились на осмотр Большой модели – были неотложные дела и у Юрия Фёдоровича, и у Николая проходили экзамены в полковой школе. Что до меня – то мы с дядей Гансом заранее договорились, что я отправлюсь в портретолитейную мастерскую Фальконета только вместе с ними. Юрий Фёдорович нисколько не возражал против моей компании, а Николай только и строил планы о том, как мы вместе посетим мастерскую ваятеля. Дядя Ганс не меньше нашего мечтал увидеть модель будущей статуи, и собирался непременно посетить показ, только несколько позднее, вместе со своими многочисленными друзьями. А я, конечно, в это время должен буду заменить его на кухне.

Наконец, мы сели в Соймоновский экипаж и поехали туда, куда стремился в последние дни весь город. Петербург буквально бурлил впечатлениями – кто-то ругал невезучего скульптора, кто-то возносил его до небес, но нам нужно было иметь собственное мнение, и Николай не слишком доверял отзывам своих знакомых. Нас ждало немало препятствий ещё при подъезде к портретолитейному дому. Все ближайшие переулки и улицы были буквально забиты коляс-

ками и экипажами. Какой-то знатный вельможа попытался подъехать цугом с шестернёй лошадей, но, сколько его форейторы ни кричали своё знаменитое «Пади! Пади!», разгоня прочий народ, на их истошные вопли никто не обращал внимания. Вельможа, ругаясь, с трудом выполз из огромной кареты с восемью гранёнными стёклами на окошках, задёрнутых бархатными занавесками. Вслед за ним буквально выпала на руки лакея, соскочившего с запяток кареты, видимо, его жена.

Крепко вцепившись друг в друга, они стали протискиваться сквозь строй карет и экипажей. Зрелище было преуморительное, и Николай еле сдерживал смех. Нам тоже оказалось непросто пробиться к дверям мастерской. Но мы не только пробились, мы даже смогли втиснуться в узкие двери, пропустив большую группу выходящих навстречу зрителей. А в мастерской неожиданно оказалось достаточно свободно, только душно, несмотря на прохладу майского пасмурного дня. Мы вошли и остолбенели. Прямо перед нашими глазами верхом на коне восседал огромный император Пётр. Одет он был совсем неожиданно – в римскую тогу. Коня я сразу не разглядел, но после, отойдя подальше вглубь мастерской, понял, как великолепно, как точно он вылеплен. Увиденное так нас с Николаем потрясло, что мы замерли в неподвижности, не в силах отвести глаз. Нас толкали то спереди, то сзади, но мы стояли и смотрели, пока Юрий Фёдорович не указал нам одними глазами на ничем непримечательного че-

ловека, стоящего совсем рядом с нами, в самом тёмном углу мастерской.

– Это Фальконет...

Я незаметно покосился, пытаюсь рассмотреть скульптора. Он был невысокого роста, довольно неказист, выглядел не праздничным, а довольно подавленным, что меня очень удивило.

– Дядюшка! – Взмолился Николай. – Вы обещали меня представить...

– Ну, что же... – Подумав мгновение, произнёс Юрий Фёдорович. – Подойдём к нему... Но ты видишь – он не в духе... Не огорчайся, ежели что...

Они подошли к ваятелю. Я, конечно, остался в стороне, но достаточно близко, чтобы слышать их разговор. Говорили они по-французски, но я, быть может, и не блистал произношением, но речь других на этом языке понимал достаточно хорошо.

Фальконет несказанно обрадовался Соймонову, который тут же представил ему своего племянника. Ваятель только слегка кивнул Николаю, сиявшего обаятельной улыбкой, и тут же начал жаловаться Юрию Фёдоровичу, едва сдерживая слёзы...

– Мсьё Соймонов, Вы представить не можете, что мне приходится сейчас выдерживать!

– Что случилось, дорогой профессор Фальконет?

– Никогда меня не жаловали дураки с подлецами... Я не

сказывал вам при последней встрече, какую бумагу мне прислал Бецкой? Он велел статую расположить так, чтобы один глаз императора зрил на Адмиралтейство, а другой – на здание Двенадцати коллегий...

Дядя с племянником не выдержали и рассмеялись.

– Насколько мне известно, царь косоглазием не страдал. – Покачал головой Юрий Фёдорович. – Это Иван Иванович неудачно свою мысль выразил.

– Но это ещё не всё... – Всхлипнул несчастный Фальконет. – Мне вчера пришлось такую безобразную сцену выдержать... Здесь накануне был некто Яковлев, я даже не представляю, кто он таков... Он произнёс такую мерзкую речь перед всеми зрителями, которые были тогда в мастерской... Нет таких гадостей, которых бы он не наговорил про статую. И головной убор у императора не тот, и усы, которые тот носил всю жизнь, не нужны вовсе... Он говорил, что мою работу поносят во всех петербургских домах, и что меня спасает только покровительство императрицы...

– Я знаю этого Яковлева... – Сердито произнёс Николай. – Это известный негодяй, в Петербурге его зовут «Мсьё скандал». Где бы он ни появился – везде возникают какие-то мерзкие истории... Это человек до того презренный, что недавно был выключен со службы. Он не стоит Вашего внимания, профессор Фальконет. Статуя великолепна. Она просто поражает своим величием и красотой!

– Успокойтесь, мой дорогой... – Подхватил Юрий Фёдо-

рович. – Что для вас мнение какого-то невежды! Наши общие друзья в Академии художеств очень высоко оценили вашу работу. А ваш любимец художник Дмитрий Левицкий говорил, что он так был потрясён зрелищем монумента, что несколько ночей спать не мог!

Лицо Фальконета просветлело. Поняв, что на душе у скульптора полегчало, я отошёл в глубину мастерской, чтобы получше оглядеть монумент. Я – только простой обыватель, и судить о скульптуре не имею никакого права. Вы, любезный мой читатель, можете лицезреть её каждодневно и иметь собственное мнение по её поводу. Ну, а в тот момент мне, как человеку любознательному от природы, очень хотелось узнать мнение зрителей, которые, как и я, впервые разглядывали будущий монумент, обходя его по кругу. Но мне, видимо, очень не повезло, поскольку слышал я вокруг разговоры далёкие от искусства. Очевидно, персоны эти посетили демонстрацию Большой модели монумента больше из любопытства, или даже из моды.

– Я, матушка, сколько раз говаривал тебе, что нельзя с утра столько жирного кушать! – Доносилось до меня, с одной стороны. – Оттого и бурлит так громко в животе, что много жирного с утра ешь.

– А князь Куракин-то, гляди, мой друг, цугом прикатил... – Слышал я голос за своей спиной. – И как он теперь с князем Репниным да с Бибиковыми разъезжаться будет? Не опоздать бы поглядеть!

Я вздохнул, поняв, откуда у Фальконета такое мрачное настроение. Мне стало его бесконечно жаль. Обойдя модель ещё раз, я выбрался на улицу. Дядя с племянником появились не раньше, чем прошло ещё полчаса.

На обратном пути, в экипаже, подпрыгнув на очередном ухабе, Николай спросил у дяди.

– Вы, действительно, близко знакомы с Левицким?

– А почему тебя это так удивляет? – Пожал плечами Юрий Фёдорович. – Я со многими художниками знаком.

– Многие – это не Левицкий... – Вздохнул Николай. – Я был на академической выставке... Левицкий – новичок, а там выставлялись такие знаменитости! И вдруг именно у Левицкого – первое место за лучшую картину по совершенству формы и высокую по своей духовной наполненности. Я пока живопись только сердцем чувствую, но так хочется разобраться во всех тонкостях!

Помолчали. Потом Юрий Фёдорович с улыбкой посмотрел на племянника.

– Ты, Николенька, конечно, хочешь познакомиться с Левицким...

Николай встрепенулся.

– Да, да, дядюшка! Непременно! При первом для вас удобном случае!

– Он скоро представится, друг мой! Ведь у меня именины на следующей неделе. А Дмитрий – первый из приглашённых. Вот и познакомитесь! А тебе, Карлуша, и Гансу рабо-

ты в тот день будет невпроворот, надеюсь, вы очередной раз будете на высоте.

– Да уж мы постараемся не опозориться, Юрий Фёдорович! Применим всё своё умение! А вы какой именинный пирог предпочитаете – шестигранный или восьмигранный?

Юрий Фёдорович засмеялся.

– Да уж восьмигранный, будь любезен испеки. И обязательно свой знаменитый баумкухен, к нему все мои друзья с особой нежностью относятся. Впрочем, мы с тобой и с Гансом нынче же вечером все блюда обсудим, какие готовить и когда на стол подавать.

Блюда на именинный стол мы с дядей Гансом готовили целых два дня. Кажется, всё у нас получилось – и хозяин, и гости остались довольны. Я, конечно, гостей не видел. До них ли мне было! Хотя о Левицком нет-нет и вспоминал. Уже после разъезда гостей, когда я буквально приполз в свою комнату, изнемогая от усталости, и свалился в постель, почти не раздеваясь, ко мне постучался Николай. Была уже глухая ночь, но он был радостно возбуждён, и ему не терпелось поделиться со мной своими впечатлениями.

– Так ты познакомился с Левицким? – Спросил я, еле ворочая языком.

– Познакомился! Это не то слово, Карлуша! – Он со всего размаха плюхнулся в кресло, и я с тоской подумал, что в ближайший час я заснуть не смогу. – Я не только познако-

мился... Я подружился с ним! Это такой человек, такой человек! Да знаешь ли... Дмитрий согласился давать мне уроки рисования! Оказывается, он совсем недавно купил дом совсем рядом с нами, у него там прекрасная мастерская. Ты представляешь, он о плате за эти уроки даже слушать не захотел!»!

– Уроки? – Вяло переспросил я. – Ты хочешь стать художником?

– Я не хочу становиться живописцем, но я хочу понимать тонкости этого ремесла...

– А зачем это тебе?

– Господи, Карл! Неужели я должен тебе это объяснять! Я хочу знать всё! Хочу знать, как творит художник, как поэт складывает стихи, как композитор сочиняет музыку, как играет на сцене актёр... Я всё хочу знать! И, может быть, когда-нибудь мне пригодится умение рисовать, и я сам напишу хорошие стихи или музыку...

Эти его слова я уже слышал сквозь сон.

Я окончательно уснул под звук голоса своего друга, и не слышал, когда он ушёл. Впрочем, Николай нисколько не обиделся и на следующий день болтал со мной беспечно о всяких пустяках.

Много позднее, поумнев и получив достаточное образование, я начал понимать необыкновенную одарённость своего друга. Не было на свете искусства, к которому он был бы равнодушен. Его занимало всё, всё возбуждало его ум и

разгорячало сердце. Он любил и стихотворство, и театр, и живопись, и музыку, и архитектуру, и механику... Казалось, что время за ним не поспевало.

Едва Николай и Левицкий познакомились, как стали буквально неразлучны, хотя разница в годах у них была изрядная: Левицкий был старше более, чем на десять лет.

Их преданная дружба и недолгие уроки живописи через несколько лет вылились в прекрасный миниатюрный портрет Николая, написанный этим мастером. Когда я впервые увидел своего друга на холсте, я просто остолбенел. Вы, мои любезные читатели, прекрасно понимаете, что я хоть и видел в домах Львовых и Соймоновых различные портреты, но то были изображения давних их предков, порой писанных, как я позднее понял, достаточно неумело. А с этого портрета Николая кисти Левицкого на меня глядел живой мой друг, которого я знал с детства. Это был именно его весёлый, лукавый и в то же время острый пронизательный взгляд. Он не только смотрел с портрета прямо к вам в душу, но и обещал вам дружбу, самую искреннюю и преданную. Портрет этот все друзья Николая хвалили и подшучивали, что на портрете он изображён слишком умным. Николай немедля откликнулся на эти обвинения вот такой эпиграммой

«К моему портрету, писанному господином Левицким.
Скажите, что умен так Львов изображен?»

В него искусством ум Левицкого вложен».

Ну, а моё личное знакомство с Левицким состоялось довольно скоро и самым неожиданным образом.

Буквально через несколько дней после именин Юрия Фёдоровича за мной на кухню пришёл лакей и сообщил, что хозяин вызывает меня к себе в кабинет. Мы с дядей Гансом недоумённо переглянулись. Я сказал лакею, что приду, не мешкая, как только приведу себя в порядок. Быстро переодевшись в своей комнате, я поднялся наверх и постучал в дверь кабинета Юрия Фёдоровича. Услышав его голос с приглашением войти, я переступил порог. Наш хозяин был не один. Свободно расположившись в кресле, мне приветливо улыбался его гость. Был он лет тридцати пяти, худощав, с тонким, ничем не выделяющимся лицом. Окинув меня мгновенным оценивающим взглядом, он отвёл глаза.

– Это, Карлуша, мой друг – известный наш живописец Дмитрий Григорьевич Левицкий...

Гость сделал было протестующий жест. Но Юрий Фёдорович повторил.

– Конечно, ты – известный художник, Дмитрий! Так вот, Карл... Дмитрий Григорьевич недавно купил дом по соседству с нами, хороший дом, ничего не скажешь... И хочет собрать своих друзей отметить это важное событие. Это будет изысканное общество, и довольно многочисленное. Повар у Дмитрия Григорьевича вполне достойный, я его кушанья с

большим удовольствием вкушал. А вот с кондитером – проблема. Просит Дмитрий Григорьевич направить тебя в помощь. На моих именинах ты всех порадовал своей выпечкой. Ну, что ты на это скажешь?

Я, конечно, растерялся от неожиданности, но предложение было для меня вполне лестное, о чём я и сказал хозяину и его гостю. Они заулыбались, вполне удовлетворённые моим ответом. Мы поговорили ещё недолго, уточнив дату и время, когда мне нужно будет появиться на кухне Левицкого.

К дяде Гансу я возвратился почти вприпрыжку. Он расчувствовался, обнял меня и поздравил с первым моим выходом на самостоятельную работу.

Так началась наша дружба с Левицким, которая продолжалась долгие годы. Как говорят, «боевое крещение» моё на празднике в его доме прошло весьма достойно, все меня хвалили от души – и сам Дмитрий Григорьевич, и Юрий Фёдорович, и Николай, присутствующий на этом вечере, конечно, комплиментов не жалел. И добавлю без ложной скромности: именно с этого дня стал я довольно часто отлучаться из дома по просьбе Юрия Фёдоровича, чтобы порадовать вкусной выпечкой гостей то одного его друга, то другого. Конечно, первое время я смущался, да и местные повара встречали меня без особой радости, видя во мне соперника, но вскоре я стал им достаточно знакомым, ни на что лишнее не претендовал, и каждый из нас занимался своим делом: они при-

готовлением закусок, первых и вторых блюд, а я – кондитерскими изделиями.

Ну, а с Левицким я особенно сблизился, когда он начал писать портреты смолянок. А почему это произошло – о том будет идти речь позднее.

Итак, Николай окончил своё обучение в школе, приступил к своим офицерским обязанностям, но усердных занятий не прекращал. Усвоенные знания пытался передать мне. Ну, а я скучал и отвлекался, думая о своём. Однажды, когда я ответил на какой-то его вопрос совершенно невпопад, он нахмурился и сказал довольно жёстко.

– Я понимаю, Карл, что многое из того, что я тебе сейчас толковываю, в твоей жизни мало пригодится и потому совершенно тебе неинтересно. Но ты мне – очень близкий человек, почти что родственник, и своим друзьям я тебя представляю, как друга. И я совсем не хочу, чтобы люди, которые меня окружают, считали тебя Торжковским медведем, никогда не покидавшего деревенской поварни.

Мне стало стыдно. Я извинился, даже польщённый таким выступлением Николая, и впредь изо всех сил старался вникнуть в смысл его уроков.

В полк Николай уходил очень рано, часам к шести. Я вставал ещё раньше, чтобы приготовить ему завтрак и накормить. У него появились интересные друзья, с которыми он потом был связан всю оставшуюся жизнь. Конечно, я тоже

познакомился с ними.

Случилось так, что Юрий Фёдорович, получив отпуск в Конторе строений, надолго уехал из Петербурга. С большими предосторожностями повёз он свою жену на последних сроках беременности в Москву, где она должна была находиться до самых родов под присмотром проживающей там своей матушки. Не терпелось Юрию Фёдоровичу повидаться и со старым своим батюшкой и сестрицей. Старший брат его Михаил Фёдорович к тому же только что получил очередную должность в Петербурге и надо было ему помочь с возвращением в столицу. Так вот Николай на это время остался в доме за хозяина. Несмотря на занятость, он отнёсся к этому со всей ответственностью. Со слугами он всегда держался довольно строго, а теперь внимательно следил, чтобы установленный в доме порядок ни в чём не нарушался. Лакеи и горничные его даже побаивались.

Но теперь по вечерам у него собирались друзья и засиживались далеко за полночь. А поскольку компания эта была молодая, и всегда полуголодная, то Николай поручил мне позаботиться о том, чтобы чай и лёгкие закуски были всегда наготове. И я завёл такой порядок, что к определённом часу буфетчик накрывал чайный стол в его комнате и приносил свежую выпечку и вошедшие в моду бутерброды. Потом буфетчик уходил. А я оставался, чтобы каждому желающему вовремя подлить чаю или предложить вкусную шанежку. Когда это произошло в первый раз, друзья Николая в мою

сторону даже глаз не повели – зачем обращать внимания на какого-то слугу! Но Николай твёрдо произнёс, такое, что все замерли и с недоумением смотрели то на него, то на меня. Он сказал:

– Господа, хочу вам представить друга детства моего, очень мне близкого человека, и при том – великолепного кондитера, в чём вы сегодня же убедитесь, Карла Кальба. Мы с ним редко разлучаемся, и потому вы будете часто видеть его в моём обществе.

Я, кажется, сильно покраснел и смутился, но тут же взял себя в руки и сдержанно поклонился. Конечно, были сначала и удивлённые, и недоумевающие взгляды, слишком неожиданным был этот пассаж Николая, но поскольку я, не покидая комнаты, скромно располагался у окна, и поднимался с места только для того, чтобы налить кому-нибудь чаю, то к моему молчаливому присутствию все скоро привыкли. Конечно, наши отношения с Николаем – дело особенное, но новые его друзья, узнав Львова поближе, поняли, что не только ко мне у него было такое дружеское расположение: всю свою жизнь угадывая в простых людях особенно одарённых, он приближал к себе многих из них, и был с ними на короткой ноге долгие годы без всякого панибратства.

Итак, у них составилась кружок. Самых близких к нему людей я быстро узнал. Пять месяцев кряду они выпускали рукописный журнал. Я читал эти журналы с большим интересом. В них молодые люди упражнялись в прозе и стихо-

сложении, а также пробовали делать какие-то переводы. Я, конечно, не литературный критик, а в те годы был одного возраста с издателями, хорошо их знал и от того мне нравилось абсолютно всё, что там писалось. Но готовя эти записки, я перелистал заново все эти журналы. Слава Богу, они бережно хранились мною и моими домочадцами все эти годы. Теперь глазами пожилого человека, весьма осведомлённого в литературе, я понимаю, что опыты Львова были в те годы достаточно робкими, хотя к тому времени он уже достаточно уверенно владел французским и итальянским языками.

Однажды на мой праздный вопрос, чем он нынче занимался на службе, Николай, засмеявшись, ответил вот таким каламбуром (он был позже размещён в названном рукописном журнале):

« Итак, сегодня день немало я трудился:
На острове я был, в полку теперь явился.
И в школе пошалил, ландшафтик сделал я;
Харламова побил; праздна ль рука моя?
Я Сумарокова сегодня ж посетил,
что каменным избам фасад мне начертил.
И Навакщенову велел портрет отдать.
У Ермолаева что брал я срисовать...»

Я, конечно, понял только одно: день Николая был сегодня непраздным. Увидев моё изумлённое лицо, он, с улыбкой,

попытался мне кое-что объяснить. Несколько дней назад в полку брал он у кого-то портрет Ермолаева, чтобы его «срисовать», что некто Сумароков чертил ему фасад каменных изб (бог знает, зачем они ему понадобились), и что его интересует какой-то «ландшафтик».

Услышав от друга про «ландшафтик», я подробно расспросил о нём Николая. Занявшись серьёзно изготовлением кондитерских изделий на кухне у Соймоновых, я всё чаще приставал к дяде Гансу с вопросами о сооружении всяких архитектурных строений из тортов и мороженого. Дядя Ганс только плечами пожимал – он никогда не занимался ни рисованием, ни черчением, а всяческое понятие об архитектуре у него вообще отсутствовало. Я воспользовался моментом и пристал к своему другу с нижайшей просьбой взять меня в ученики хотя бы по черчению, и составить для меня самый малый словарь архитектурных терминов и названий в надежде, что когда-нибудь он меня всё же просветит и в этой части.

Николай поначалу страшно удивился моему неожиданно любопытству в такой для меня отдалённой области. Я ожидал от него обычной иронии и насмешек, но, поняв, в чём дело, он отнёсся к моей просьбе на удивление серьёзно и пообещал о ней не забывать и находить иногда, хотя бы несколько минут для моего образования. К сожалению, кружок издателей рукописного журнала по какой-то причине распался. Николай не распространялся по этому поводу.

Из отдельных его слов понял я только, что кто-то написал на него весьма злую эпиграмму. Николай не преминул ответить «сатирой». Ну, и рассорились, разошлись авторы рукописного журнала. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. В круг Львова попадали весьма одарённые и талантливые люди, которые становились его друзьями не только на долгие годы, но и на всю жизнь. Несколько позже описанного времени ближайшим другом Николая, а впоследствии и его родственником, стал Василий Капнист, которого вы, любезные мои читатели, нынче знаете, как знаменитого поэта и драматурга. Он сразу полюбился всем: остроумный, приветливый со всеми, веселый. И, хотя он свободно владел французским и немецким языками, но говорил больше по-украински, на своём родном языке. Я очень хорошо помню его молодым: худощавый, среднего роста, с приятным лицом и насмешливой улыбкой. Зимой приехали из Москвы братья Соймоновы. Михаил Фёдорович назначен был императрицей президентом Берг-коллегии, ведавшей всеми горными делами государства – большего знатока в горном деле во всей России было не сыскать. Это назначение Михаил Фёдорович принял с большой ответственностью. Он убедил Екатерину в неотложности создания специальной школы для горных инженеров. И довольно быстро создал эту школу, причём самолично отбирал для неё первых учеников из лучших студентов Московского университета. Прибавьте к сказанному, что человеком он был очень приветливым и радушным, имел мно-

го друзей и прочные связи при дворе. А самое главное – принял Николая как родного сына, о чём тот никогда не забывал. Именно Михаил Фёдорович разжёл его интерес к организации горного дела, который позже вылился у Львова в идею добычи отечественного угля, разработки угольных копий. Конечно, конечно, эти попытки закончились неудачно и, может быть, даже трагически, но на это, как говорится, была Божья воля...

Михаил Фёдорович недолго оставался в Петербурге – вскоре уехал по поручению императрицы в Петрозаводск заниматься проблемами Олонецких заводов, которые совсем захирели в те годы. Однажды, когда Николай был на службе в полку, а Юрий Фёдорович – в отъезде по своим градостроительным делам, ко мне на кухню пришёл человек из дома Левицкого, с просьбой от хозяина явиться к нему по возможности скоро. Я не слишком удивился, думая, что речь идёт об очередном приёме в доме художника. Особых дел на кухне у меня не было и, с разрешения дяди Ганса, переодевшись, я поспешил к Левицкому. Он жил на соседней «линии», как называются улицы на Васильевском острове, идти до него было не более пятнадцати минут. Меня встретил любезный лакей и доложил, что Дмитрий Григорьевич ждёт меня в мастерской, и тотчас же проводил меня к нему.

Я, конечно, впервые был в мастерской художника и с любопытством осматривался вокруг. Это была просторная зала, специально выстроенная для живописных сеансов, с

большими окнами и с несколькими мольбертами, закрытыми холстами, расставленными в хаотичном порядке.

Левицкий приветливо поздоровавшись, предложил мне удобное старинное кресло и попросил подождать несколько, пока он приведёт свои руки в порядок. Долго и тщательно он мыл их под ручкой. Вытер полотенцем, снял с себя забрызганный масляной краской передник и остался в свободной тёмной блузе. Наконец, он опустился в такое же глубокое кресло рядом со мной.

– Я просил вас, Карл, прийти нынче по весьма неожиданному делу... Но прежде хочу спросить: видели ли вы хоть раз в Летнем саду гуляющих девушек-смолянок?

Об этих прогулках в городе ходило много разговоров. Девушек воспитывали в закрытом Смольном институте, отрывая от дома и родных на целых двенадцать лет. Таким образом императрица хотела создать новое поколение женщин, далёких от русской патриархальности. Об этом мне много рассказывал Николай. И меня, как и многих молодых людей в Петербурге, юные «смолянки» очень интриговали. Однажды я даже намеренно отпросился у дяди Ганса, чтобы взглянуть на них издали, узнав, что нынче их опять приведут в Летний сад на променады.

Несколько смутившись, я искренне признался в том Левицкому.

Он широко улыбнулся.

– Не удивляйтесь моему вопросу, Карл... Дело в том, что

государыня дала мне поручение написать несколько портретов девушек, особо отличившихся в науках и искусствах, которые им преподают в институте. Канцлер Бецкой составил для меня целый список этих замечательных девиц. Условие у меня было единственное – никаких посторонних лиц при работе. Директриса с большим трудом согласилась оставлять девушек без попечения воспитательницы наедине со мной. Я приступил к первым портретам двух юных воспитанниц. Девушки эти – представительницы весьма древних, знатных и богатых родов, княжны. Возможно, вам известны эти фамилии: Ржевская и Давыдова. Они, конечно, меня сначала дичились и стеснялись, я старался с ними быть как можно приветливее и веселее. Писать их парный портрет начал только с третьей встречи, на первых двух только болтал с ними, шутил. Наконец, я провёл с ними несколько сеансов, но на моём пути встали совсем неожиданные проблемы... Я долго думал, как мне с ними справиться, и совсем неожиданный выход мне предложил Николай. Он посоветовал мне взять вас в помощники.

Кажется, мои глаза чуть не выскочили из орбит.

– Меня?!

Левицкий расхохотался.

– Именно вас... Сейчас объясню. Дело в том, что обе девушки очень юны: Ржевской двенадцать лет, а Давыдовой всего лишь восемь. Позировать мне, стоять долго неподвижно им очень сложно. Но это ещё полбеды... Я открою вам

большую тайну, если скажу, что в институте их кормят весьма скудно. Они приходят ко мне после завтрака, который состоит из небольшого куска хлеба с маслом и жидкой каши. Ко времени обеда они уже страшно голодны, но, как положено воспитанным барышням, не жалуется. Вы уже поняли, Карл, к чему я клоню?

Кое-какие соображения, конечно, в моём мозгу уже замелькали, но я скромно ответил.

– Пока не могу понять, чем я могу быть полезен...

– Своим кондитерским искусством, дорогой... Мы с Николаем составили целый план ваших вылазок при моей работе в институте. Вы приготовите для мадемуазель самые вкусные пирожки и шанежки, возьмёте с собой небольшой чайник – это ничего, что чай остынет, две самые красивые чашки, которые найдёте в моей буфетной и будете приезжать на сеансы в институт вместе со мной. Для посторонних вы будете моим учеником или помощником. Вам придётся пошучить и потерпеть половину сеанса, потом вы девушек тайно покормите, не дай бог, о том узнает директриса! И я провожу вас до вестибюля. Я знаю, что Юрий Фёдорович в отъезде, но уверен, что он возражать не будет.

Я тут же стал придумывать, какие вкусности надо приготовить барышням. Левицкий сразу всё понял, засмеялся.

– Значит, вы согласны?

– Безусловно! Я всегда готов вам помочь, а тут такая интересная история...

Утром следующего дня я ждал Левицкого в вестибюле его дома. В моих руках была небольшая корзинка с выпечкой и чайником, укутанным в специальные кухонные паровые грелки. Корзинка была сверху прикрыта холстом, который применяют художники.

Мастерскую для художника в Смольном институте организовали в небольшой, очень хорошо освещённой театральной зале, с невысокой сценой, на которой стояли позирующие юные особы. Девочки меня сначала стеснялись, разглядывали исподтишка, но вскоре поняли, зачем я тут и были чрезвычайно обрадованы такой заботой о них самого Левицкого. Уже на второй, на третий день они с большим аппетитом поглощали мои изделия. Тем более, что, как я узнал, сладости в институте они видели чрезвычайно редко. Во второй половине дня юные натурщицы уходили на уроки и на обед, не менее скудный, чем завтрак. А Левицкий продолжал работать в одиночестве до наступления темноты. Конечно, ему приносили в сумерках несколько канделябров и жирандолей. Но ему был нужен именно дневной свет, чтобы передать все нюансы выражения девичьих лиц. Так прошёл месяц, а после и другой. На Петербург быстрыми шагами наступала осень, темнеть начинало всё раньше и раньше, от того сеансы становились раз от разу короче. Но портреты двух юных княжон уже ясно вырисовывались, чем они сами были чрезвычайно довольны. В послеобеденное время к художнику заглядывала и директриса, а иногда даже сам канц-

лер Бецкой, главный попечитель Смольного института, который неизменно оставался доволен работой художника. Вскоре позирование натурщиц Дмитрий Григорьевич использовал всё реже. Теперь ему нужно было заниматься только поисками оттенков и нюансов цветов, в чём он, безусловно, весьма преуспел, и надобность в моём присутствии отпала. Работа Левицкого над серией портретов «смолянок» растянулась на несколько лет, но его натурщицы становились всё старше, и подкармливать их во время сеансов уже не было необходимости. Мои услуги Дмитрию Григорьевичу более не были нужны. Они востребовались после лишь однажды, а при каких обстоятельствах – о том я напишу позднее.

Когда я рассказывал Николаю, с каким аппетитом юные княжны поедали приготовленную мною выпечку, он смеялся до слёз, и был очень доволен, что рекомендовал Левицкому такой перерыв в работе. Он даже несколько завидовал мне, поскольку я оказался в центре жизни института, а он был в это время в полку. Ему было очень интересно всё, что происходит в этом закрытом заведении. От него я узнал, что Институт Благородных девиц был создан императрицей и Бецким только для того, чтобы не отстать от просвещённой Европы. Екатерина пригласила Дидерота в Петербург и желала во чтобы то ни стало удивить его первыми выпускницами – образованными в науках, понимающими толк в живописи, обученными музыке, танцам и пению, умеющими вести беседы на иностранных языках... И портреты лучших «смоля-

нок», заказанных Левицкому, как нельзя более способствовали этому замыслу.

Россию в те годы просто накрыла европейская волна Просвещения. Молодёжь бредила учениями Вольтера и Дидро, которого в России звали «Дидеротом». Когда у Николая собирались друзья, имена французских философов разносились по всему дому, а споры молодых людей иногда бывали чрезмерно запальчивыми. Признаюсь, я, присутствуя на этих вечерах, поначалу улавливал смысл только отдельных фраз. Николай потом долго мне растолковывал, о чём, собственно, они спорили. Конечно, несколько позднее я уже кое-что и сам понимал, но, безусловно, ни в какие дискуссии не вмешивался, только слушал, не забывая о своих прямых обязанностях: вовремя подлить кому-нибудь чаю, или подсунуть кренделёк особо разгорячившемуся спорщику.

Служба в полку надоела моему другу до смерти и не приносила никакой радости и удовлетворения. И Николай зачастил в дом Петра Васильевича Бакунина, правой руки графа Никиты Панина в Коллегии иностранных дел, который был Львовым каким-то весьма далёким родственником. Дом Бакунина был открытым, здесь собирались родные хозяев и друзья, видные государственные деятели и столичная знать.

И, как случалось всегда, весьма скоро Николай очень расположил к себе хозяина дома, этого влиятельного человека, который готов был ему помочь в любых делах.

Поздними вечерами, иногда даже посреди ночи Николай

приходил ко мне в комнату, радостный и возбуждённый. Я понимал, что ему необходимо выговориться, поделиться своими впечатлениями. Я не только не обижался за него за очередную бессонную ночь, но, весьма польщённый его привязанностью ко мне, не смотря на усталость, готов был слушать его до утра.

Однажды, вернувшись довольно поздно из дома Бакунина, он зашёл ко мне и был как-то особенно взволнован и даже возбуждён.

– Садись и рассказывай... – усадив его в кресло, без обиняков велел я ему, устроившись рядом.

Он сел и как-то даже растеряно произнёс.

– Меняется моя жизнь, Карлуша... Резко меняется. Я никак не мог предположить, что так всё обернётся...

Я забеспокоился, пожалуй, даже испугался.

– Да говори толком – что случилось!

Он взглянул на меня и рассмеялся.

– Чего ты испугался? Всё хорошо, мой друг, всё просто замечательно! Мне сегодня Пётр Васильевич экзамен устроил... Самый настоящий.

– Бакунин? Какой экзамен? Зачем?

– Вот и я поначалу не понял – зачем. Проверил он досконально мои знания и в немецком, и во французском, и в итальянском языках, и остался весьма мной доволен. После чего вдруг сообщил, что уже давно хлопочет перед графом Никитой Иванычем Паниным обо мне, чтобы устроить меня

на службу в Коллегию иностранных дел курьером. И нынче Панин получил на то согласие от государыни. Ты представляешь, что это такое?!

– Нет, конечно...

И Николай растолковал мне вкратце, что за должность такая – курьер в Коллегии иностранных дел.

– Но это ещё не всё... – Николай загадочно посмотрел на меня. – Пётр Васильевич решительно предложил мне, как можно скорее, переехать к нему. Он тут же показал мне мои будущие апартаменты. Это знаешь ли... Я о таких и мечтать не смел. – Он покачал головой. – Так что, друг мой, в ближайшее время я получаю отпуск на службе, поеду в Чечевицы к матушке, надо же ей рассказать обо всём, а как вернусь – переезжаю к Бакунину. Конечно, с великой благодарностью к Соймоновым за их великодушие и гостеприимство. Ну, а после начинаю выполнять свои обязанности курьера в Государственной коллегии Иностранных дел. Меня ждут такие интересные вояжи. В такие страны...

Николай замолчал, задумчиво покачав головой. Я сидел потрясённый. И не мог и слова вымолвить.

– Ну, что ты молчишь, Карлуша, словно воды в рот набрал? Что скажешь?

– Я, конечно, тебя поздравляю... – Промямлил я. – Это очень интересно и хорошо во всех отношениях.... Только...

– Что только? – Засмеялся Николай. – Я понимаю, об чём ты думаешь. Ты думаешь, как ты останешься у Соймоновых

один, без меня?

Я ничего не ответил. Сидел, низко опустив голову.

– Смотри веселей, друг мой! – Он расхохотался. – О твоей судьбе тоже разговор был. Пётр Васильевич как узнал, что ты по происхождению – немец, очень обрадовался. Повара у него – из крепостных, не слишком умелые и усердные. Народу в его кухонном флигеле толчется тьма, работных баб и кухонных мальчиков не счесть, а только пользы от того – ноль: то к приезду гостей не успевают блюда приготовить, то что-нибудь из дорогих заграничных продуктов испортят. Бакунины давным-давно хотели повара-француза нанять. А как Пётр Васильевич про немца услышал, ты даже представить себе не можешь, как обрадовался. Тем более, что я тебя представил не только как искусного повара и кондитера, но и как друга своего детства. Так что переезжать в дом Бакуниных мы будем вместе.

Вот так наша судьба с Николаем опять сделала резкий поворот.

Но вы, наверно, уже догадались, мои дорогие, что жизнь Львова с этого времени стала не только намного интереснее, но и приобрела большой смысл. У меня в моих дрожащих то ли от старости, то ли от волнения руках его служебный «Аттестат». Я его совсем недавно выпросил у старшего сына Николая Леонида, с большим трудом уговорил я его доверить мне эту бумагу всего на несколько дней.

И вот что там писано: «По указу ее императорского ве-

личества и по определению Государственной Коллегии иностранных дел дан сей аттестат находившемуся в ведомстве оной Коллегии посольства советнику Николаю Львову в том, что в службе состоит с 1759-го году, сначала в лейб-гвардии Преображенском полку, где произошёл от бомбардир до сержантов, и находился при означенной Коллегии в курьерской должности, откуда неоднократно послан был в разные иностранные государства к обретающимся там ее императорского величества министрам, и возложенные на него комиссии исправлял с отличным усердием и исправностью...».

Николай ненадолго получил отпуск для того, чтобы навестить матушку и сестёр в родных Чечевицах. Я, конечно, воспользовался его отъездом, чтобы отправить с ним подробное письмо о своей нынешней жизни дорогому родителю, похвастаться успехами. Без ложной скромности доложу я вам, что к этому времени я стал в городе достаточно известным кондитером, меня наперебой стали приглашать в разные известные дома. Моя работа по приглашению не только расширяла границы моего искусства, но и мои знакомства со знаменитыми людьми нашего времени, как получилось, например, с Левицким.

Срок моего договора с Юрием Фёдоровичем о переходе из его дома на самостоятельную работу к новым хозяевам давным-давно истёк, а приглашения на постоянную службу в чей-то дом я, к сожалению, до сих пор не получал. В деньгах братья Соймоновы нас с дядей Гансом не обижали, мой

личный капитал за прошедшие несколько лет значительно пополнился – повара-иностранцы ценились в Петербурге достаточно высоко и получали они жалование намного выше русских поваров. Но я мечтал о самостоятельном поприще, чувствовал себя лишним на кухне у Соймоновых и был теперь просто счастлив от приглашения в большой дом Бакуниных. По ночам беспокойно вертелся в постели – только бы не сорвалось чего-нибудь в этих планах, только бы Бакунин не передумал...

Николай уехал в Черенчицы. Наш хозяин отпустил с ним в отпуск и дядю Ганса, очень уж тому хотелось повидаться со своим братом, моим батюшкой. Михаил Фёдорович трудился Петрозаводске, а Юрий Фёдорович отбыл надолго из Петербурга по своим служебным делам. Дом Соймоновых опустел. Перед своим отъездом Юрий Фёдорович изрядно сократил количество прислуги в доме, но в полутёмных комнатах я, то и дело, натыкался на изнывающих от безделья лакеев. Я мало чем отличался от них. Уже была глубокая осень, и дожди лили с утра до вечера. В такую погоду куда-то выходить из дома не хотелось. Да и дел в городе не было никаких. Я с нетерпением ожидал возвращения Николая, считая дни, оставшиеся у него от отпуска.

И вот, наконец, тёмной сырой ночью услышал я сквозь сон, звонко зазвеневший дверной колокольчик. Громко захлопали двери и затопали по лестницам слуги. Я подбежал к окну. Слава Богу – это приехал Николай! Схватив свечу, я

тут же бросился к нему в комнату, в ней было сыро и неуютно. Быстро зажёл все свечи в жирандолях и канделябрах, пришлось не единожды дёрнуть за сонетку, пока не появился заспанный лакей – я приказал ему, немедля, затопить камин.

И вот в дверях появился, потирая усталую спину, Николай. Два лакея внесли за ним его баулы и чемоданы. Он отдал распоряжение слугам, как поступить с остальным багажом, и когда они исчезли, мы, наконец, обнялись. Я, видимо, чересчур пылко прижал его к себе – мой друг даже вскрикнул.

– Сразу, видать, Карлуша, что давненько ты не ездил по нашим осенним дорогам... У меня не только спину, но и все бока ломит...

– Ну, прости, прости! Ты, верно, есть хочешь? – Спросил я.

– Нет, я так устал, что никакого голода не чувствую. Ты меня завтра накормишь, а сейчас только спать. Спать, спать.

...

Я помог ему стянуть с себя дорожную одежду.

– Спасибо, Карлуша. Спасибо, дружище. Я тебе письмо от родителя привёз, только его ещё найти надобно. Это завтра... Дядюшка твой решил ещё остаться недели на две, всё равно Юрий Фёдорович раньше не вернётся. Чем покормить меня – ты всегда найдёшь, а слуги у тебя никогда голодными не ходили.

– Ну, и прекрасно. – Пожал я плечами. – Дядя Ганс столько лет без отпуска трудился. Пусть отдохнёт.

Николай опять потёр свои болезненные бока.

– У меня ещё три дня отпуска. Завтра отлежусь, отдохну, а после буду думать о переезде к Бакуниным. А когда твой дядя Ганс вернётся, и ты отсюда съедешь.

Я ещё раз вызвал лакея и велел ему оставить зажжённой одну свечу, проследить за камином и помочь Николаю улечься в постель. Пожелав своему другу спокойной ночи, я, несказанно счастливый, отправился к себе.

Как я уже писал, Николай на службу уходил очень рано, а я вставал ещё раньше, чтобы приготовить ему завтрак. Но нынче он очень устал с дороги, отпуск его ещё не кончился. И когда мой друг встанет по утрам, я, конечно, не предполагал. Тем не менее, я поднялся с постели ещё в полной темноте, зажёл свечи, умылся. Привёл себя в порядок и отправился на кухню. Разбудил кухонного мальчика, который спал тут же на полу, велел поднять работную бабу и растопить печь. Втроём мы довольно быстро справились с приготовлением завтрака для Николая Александровича и немногочисленных слуг- бездельников. Я решил приготовить и любимую Николаем выпечку и принялся за тесто. И так увлёкся работой, что не заметил, как пролетело время. Появился лакей и доложил, что Николай Александрович проснулись и желают, чтобы я собственноручно принёс им завтрак в их комнату. Я отправил лакея с накрытым подносом вперёд, а сам взял ещё один, поставил на него кофейник с заваренным кофе, сливки, две чашки и только что испечённые крендельки и

печенье.

Николай уже встал и умывался под рукомойником. Я ото-слал слугу и помог ему обтереться полотенцем.

– Ну, как ты себя чувствуешь? Полегчало ли?

– Не могу сказать, что я бодр, как всегда... Но по сравне-нию со вчерашним – мне намного лучше. О, да ты уже успел и печенье приготовить?! Ну, спасибо, дружок. Давай кофе пить. А после я Левицкому записку напишу. Не успел я с ним попрощаться перед отъездом, он всё «смолянок» писал в институте.

Николай черкнул несколько слов на чистом листе, и про-тянул мне.

– Сделай милость, Карлуша, отправь человека к Дмитрию Григорьевичу. Если он дома, вели слуге подождать ответа, а коли нет – пусть он моё письмо оставит камердинеру и пе-редаст, что я просил хозяина мне отписать, как только вер-нётся.

Я был почти свободен от кухонных дел, и мы провели с Николаем вместе целый день. Письмо от бабушки было по-дробным и ласковым, мне очень захотелось с ним повидать-ся. Но поскольку я только собирался приступить к работе в доме Бакуниных, я даже думать не смел о поездке в Черен-чицы.

Уже после обеда принесли письмо от Левицкого. Николай быстро пробежал его глазами и радостно воскликнул.

– Слушай, Карл... Здесь такая новость! Такая новость!

Левицкий нынче пишет портрет Дидерота!

– Он в Париже?

– Нет, мой друг! Не Левицкий в Париже, а Дидерот в Петербурге!

– Дидерот здесь?!

– Представь себе! О, Господи, да ты ведь совсем ничего не знаешь! Так устраивайся поудобнее, делать нам сегодня нечего, я тебе всё подробно изложу.

Я устроился в любимом кресле.

– Так вот, мой друг... Если помнишь, я тебе не однажды сказывал, что императрица наша питает глубокую привязанность и к Вольтеру, и к Дидероту. Она не раз приглашала их в Россию, особенно Дидерота. Он неизменно отвечал вежливым отказом. Беда в том, что он всегда жил очень скромно, настолько скромно, что по слухам, не смог по этой причине удачно выдать замуж свою дочь. В конце концов, оказавшись в весьма тяжёлых обстоятельствах, он объявил о намерении продать свою потрясающую библиотеку. Нам с тобой даже представить трудно, что она такое – библиотека великого Дидерота! Когда наша государыня узнала об этом, она не только сразу уплатила запрошенную сумму – кажется, что-то около пятнадцати тысяч франков, но и оставила книги в полном распоряжении их хозяина.

– Какая щедрость!

– Это ещё не всё, Карлуша! Специальным Указом императрицы Дидерот был назначен пожизненным хранителем соб-

ственной библиотеки с ежегодным содержанием, насколько мне известно, ни много ни мало в тысячу франков. Причём, жалованье было выдано за пятьдесят лет вперед.

– Вот это подарок!

– Ещё бы! Но в связи с этим «подарком», как ты изволил выразиться, поездка в Россию теперь стала для Дидерота делом чести. Но по разным причинам – серьёзным и не очень, он не мог решиться на неё ещё лет восемь. И вот в то время, когда я был в Чечевицах, он, наконец, прибыл в Петербург. И, представь себе, Левицкий пишет его портрет в доме братьев Нарышкиных на Адмиралтейской стороне, у которых Дидерот поселился. Дмитрий просит меня посетить его дома нынче же вечером, часов около восьми, он мне расскажет все подробности. Я, конечно, был бы несказанно рад познакомиться с Дидеротом, но это уж как получится... Сколько сейчас времени?

Словно отвечая на его вопрос рядом в гостиной тяжело загудели напольные часы, отсчитывая время. Было семь вечера. И Николай стал собираться к Левицкому.

– Ты только рано спать не укладывайся, – велел он мне на прощанье. – Я всё про Дидерота тебе рассказать должен.

– Ну, это уж обязательно! Я без того и не засну.

Николай вернулся от Левицкого довольно поздно, но я, как и обещал, не думал ложиться. Мы проболтали почти до утра.

Оказывается, в мастерскую художника из Смольного ин-

ститута привезли последний выполненный Левицким портрет – смолянки Глафиры Алымовой, одной из лучших первых выпускниц. Портреты, написанные прежде, уже стояли в его мастерской, Николай их видел и был от них в восторге. Но портрет Алымовой – это... Если другие были заказаны самой императрицей, то этот – никем иным, как Иваном Ивановичем Бецким. Ну, о том – рассказ особый, повременю пока.

– Слушай, Карлуша, какие у нас с тобой будут планы на завтра... – Продолжал Николай. – Хотя уже – на сегодня, ведь утро уже. Дидерот нынче с самого утра поедет в мастерскую Фальконета, давнего своего друга, осматривать статую. Потом – на каждодневную аудиенцию к императрице. Левицкий с утра поработает над его портретом в доме Нарышкиных в тишине и в одиночестве, а после пришлёт за мной коляску, так как хочет непременно показать мне свою работу. Он и тебя приглашает, ты опять ему зачем-то понадобился. Очень ты ему полюбился.

– Я полюбился или мои крендельки?

– Не придирайся к словам, мой друг! Ты знаешь, что всегда располагаешь к себе моих друзей. Так поедешь или нет?

– Я бы с радостью... Но мне надобно кормить слуг.

– Успеешь. Посмотришь портрет, повидишься с Левицким, и вернёшься к обеду. Если и припоздаешь несколько – не велика беда, подождут слуги.

Я кивнул, хотя в моей педантичной немецкой душе и мыс-

ли такой не могло родиться, чтобы я опоздал с обедом даже для немногочисленной, оставшейся в доме дворни. Таким уж я родился.

Когда мы уже сидели в экипаже Левицкого, Николай, смеясь, сообщил мне ещё одну деталь.

– Знаешь ли, Карлуша, про Дидерота немало смешных историй рассказывают, у него слабости, как и у всех великих людей. Но есть одна особенная. Дидерот обожает позировать художникам. Дмитрий смеялся, рассказывая, что тот был страшно польщен, когда братья Нарышкины их познакомили – ведь Левицкий, как-никак – академик живописи.

Нам в тот день повезло: осенняя погода решила нас порадовать. Светило неяркое солнце, и ветра особенного не было.

Тяжёлую дверь богатого дома Нарышкиных нам отворил важный швейцар в ливрее. Он принял из наших рук верхнюю одежду, и молодой учтивый лакей провёл нас в большую светлую залу, очевидно танцевальную, предоставленную в полное распоряжение Левицкому, в которой он работал над портретом философа. Увидев нас, художник отошёл от мольберта и приветливо улыбнулся.

– Я рад видеть вас обоих. Сейчас помою руки и покажу вам свою работу.

Он снял передник, перепачканный краской, отодвинул подальше от мольберта палитру. Николай с готовностью полил ему на руки из кувшина, стоящего в широком тазу у стены.

– Спасибо, мой друг.

Тщательно вытерев мокрые руки, Дмитрий Григорьевич, улыбаясь, повернулся к нам.

– Дело в том, что завтра в полдень ко мне в мастерскую пожалует никто иной, как Иван Иваныч Бецкой для оценки моей работы – портрета своей любимой воспитанницы Глафиры Алымовой. От обеда он заранее отказался, но я знаю, что к кофею сей великий муж не равнодушен, и, думаю, от него не откажется. И с уверенностью могу Вам сообщить, что к немецкой кухне и, особенно к немецкой выпечке, он большую слабость имеет. Вы меня осчастливили бы, Карл Францевич, если бы согласились своими кондитерскими изысками украсить мой чайный стол...

– Он согласится, согласится – со смехом вмешался Николай. – Подумай только, Карлуша, ты ведь самого канцлера Бецкого своим баумкухеном будешь потчевать!

Я, конечно, страшно смутился, но сразу согласился. Мы договорились, что я нынче к вечеру приду к Левицкому домой, и мы договоримся о деталях.

– Ну, и слава Богу! – Обрадовался художник. – А теперь, друзья мои, подойдите сюда. Ну, не так близко... Встаньте справа. Тогда свет из окон будет падать в нужном направлении. Вы – первые зрители моего творчества. Мне очень интересно, что вы скажете.

Мы с Николаем подошли и встали там, где было предложено художником. Конечно, его реплика по поводу нашего

мнения о портрете относилась к Николаю, уж вовсе не ко мне – повару и кондитеру. Но меня тронуло столь тактичное отношение известного мастера ко мне.

Я не представлял себе внешность французского философа и предполагал, что на портрете увижу некую важную официальную личность в парике и парадной одежде. Но мудрый пожилой человек, с лёгкой грустью смотревший на меня, поражал своей простотой и обыденностью. Он выглядел бесконечно усталым, задумчивым и доброжелательным. Казалось, что он только что снял пудренный парик и надел домашний халат. Николай был поражён увиденным не менее, чем я. Они с Левицким тут же начали бурно обсуждать тонкости портретной живописи, а я просто стоял и смотрел. И не мог наглядеться. И вдруг позади себя мы услышали хрипловатый голос, говоривший по-французски, который заставил меня даже вздрогнуть от неожиданности.

– В течение дня я имею сто самых разных физиономий, в зависимости от предмета, который меня занимает. Я бываю грустным, ясным, задумчивым, нежным, резким... Моё лицо обманывает художников, я не бываю одинаковым в разные минуты.

Левицкий оборвал свой разговор с Николаем и рассмеялся.

– Это вы, господин Дидерот! О, и мсьё Фальконет с вами! Я рад представить вам своих молодых друзей – это Николай Львов и Карл Кальб. Они здесь по моему приглашению. На-

деюсь, вы ничего не имеете против?

Я оглянулся. На этот раз я увидел Дидерота в парике, который сидел на его круглом черепе как-то неловко. Рядом с ним стоял Фальконет, столь же хмурый и усталый, как и в первую нашу встречу на демонстрации Большой модели его монумента.

– Отчего же! – Живо откликнулся Дидерот. – Мне очень любопытна молодёжь государства Российского. Мы много спорим о её судьбе с императрицей. Ну, и как вы, молодые люди, находите мой портрет? Могу признаться, я не люблю своих портретов...

– Ну, ну... – Язвительно произнёс Фальконет. – Вашими портретами весь Париж увешан. И, кажется, вы несколько тому не противитесь. А какие живописцы вас пишут! Назвать фамилии?

Дидерот с улыбкой отмахнулся.

– Давайте лучше сядем и поговорим о судьбах русского изобразительного искусства...

И, стянув неуклюжий парик, первым присел на канаве в глубине зала.

– Садитесь, Этьен. Вы увидите, вернее услышите, что мысли русской молодёжи по этой теме весьма интересны. Садитесь и вы, молодые люди... У меня до встречи с императрицей есть ещё пара часов, мне очень хочется услышать перед тем ваши рассуждения. Это будет весьма интересная тема для сегодняшнего разговора с государыней.

Воспользовавшись паузой, связанной с рассказыванием, я по-французски извинился, сослался на неотложные дела, раскланялся и покинул это весьма заинтриговавшее меня общество.

Уже в дверях я расслышал лестную для себя фразу Дидерота.

– Вот видите, Этьен, русская молодёжь весьма образована. Этот молодой человек свободно разговаривал с нами по-французски и, могу поспорить, что он знает ещё пару иностранных языков. А вы всё ворчите, что здешняя молодёжь ничему не хочет учиться...

На следующее утро, когда я стоял у плиты в доме Левицкого, на улице ещё была непроницаемая мгла. По приказу хозяина все кухонные работники помогали мне с усердием, иногда даже излишним. Ровно в полдень, когда серое туманное утро осветило фасады соседних домов, к дому цугом подъехала роскошная карета. Вся кухонная челядь прилипла к окнам, мне, как гостю, уступили самое почётное место с той стороны, с которой лучше всего был виден подъезд. Я, как и все, с большим любопытством разглядывал этот экипаж. Верховые, сопровождавшие его, «вершники» на передних парах лошадей и лакеи, стоявшие на запятках, были в ливреях, обшитых золотом по всем швам. Левицкий встречал важного гостя на крыльце своего дома. Конечно, из окна кухонного флигеля невозможно было разглядеть лица Бец-

кого, я увидел только сутулую фигуру старика, важно и неторопливо поднимавшегося по лестнице навстречу хозяину.

Со слов Николая, я знал, что Бецкого в Петербурге называют «сфинксом» из-за непроницаемого выражения его физиономии. Говорили, что он вечно колеблется между словами «да» и «нет». Но в те годы Иван Иванович Бецкой был великим человеком. Не было в столице ни одного значительного дела, в котором он не принимал бы самого активного участия. Он был главным попечителем Воспитательного дома и директором Шляхетного корпуса, директором Конторы от строений Её Императорского величества домов и садов. Первым заинтересовался искусством выведением цыплят без наседки и разведением шелковичных червей. В императорских садах и резиденциях не могла решиться без его участия самая ничтожная проблема. Злые языки говорили, что, когда в Петергофском пруду всплыли кверху брюхом пять сазанов, их боялись трогать и не вытаскивали из воды несколько дней, пока он не дал распоряжения по этому поводу. Сплетники приписывали ему даже отцовство государыни, но мне ли судить о том, что в том правда, а что – нет...

Прошло, наверно, более часу, когда велено было накрывать чай в столовой. Я, конечно, очень волновался, когда побледневший от страха лакей понёс мою выпечку из кухонного флигеля в господский дом. У меня, как и у него, дрожали руки. Но всё прошло спокойно. Важный гость отбыл восвояси, а лакей сообщил мне, что Дмитрий Григорьевич пригла-

шает меня в свою мастерскую.

– Ну, Карлуша, – встретил он меня, улыбаясь, – поздравляю вас. Ивану Иванычу ваша выпечка не только понравилась, он вашей персоной весьма заинтересовался.

– Моей персоной? – Опешил я.

– Представьте себе. Когда он узнал, что вы родились в Сибири в доме самого старика Соймонова и нынче проживаете у его сыновей, очень вы ему любопытны стали. Ваш баумкухен им признан восхитительным. Он сказал, что непременно о вашем искусстве расскажет императрице. Нынче-то всё – французская кухня, да французская... А государыня наша всё-таки немка, и вкусы свои немецкие вовсе не скрывает.

Я, конечно, таял от этих комплиментов. Но мастерская художника – это всё-таки мастерская художника. У меня просто глаза разбежались. Но я успокоился, увидев знакомые портреты «смолянок», что создавались при мне, если не сказать смелее, при моём непосредственном участии. Конечно, в мастерской Левицкого они смотрелись совсем иначе, чем в скромной театральной зале Смольного института, но личики девочек показались мне такими знакомыми и милыми, что я невольно заулыбался.

Левицкий расхохотался.

– Ну, что мой друг, знакомых девиц увидели? Но кое с кем вы совсем не знакомы. Подойдите сюда, Карлуша...

Да, конечно, этих выпускниц Смольного института я не знал. С портретов на меня смотрели семь юных созданий,

семь прелестных девиц – кокетливых, слегка манерных, старательных, совсем малышек и уже повзрослевших – первых выпускниц Смольного института благородных девиц. Тех самых, которыми по слухам, гордилась императрица. Левицкий назвал мне их фамилии.

– Нелидова, Левшина, Борщёва... Особенно обратите внимание, Карлуша, вот на этот портрет – это Глафира Алымова. Её заслуженно считают лучшей арфисткой Петербурга...

И я увидел стоявший совсем в стороне портрет ещё одной выпускницы Смольного института, в белом атласном платье. Она сидела перед арфой, положив на её струны длинные пальцы.

Левицкий взглянул на меня мельком, но весьма многозначительно.

– Портрет Алымовой заказал мне сам Иван Иванович Бецкой. Думаю, что ради того, чтобы в деталях его рассмотреть, он и пожаловал в мою скромную мастерскую. Он рассеянно взглянул на прочие портреты, которые видел ещё в институте, когда наезжал туда с проверками, попросил меня поставить кресло против портрета Алымовой и оставить его на полчаса в одиночестве. Я с готовностью выполнил его желание. Когда же я в назначенное время вернулся, то Бецкой сидел в кресле в глубокой задумчивости. И мне даже показалось, что на его щеках блеснули высыхающие слёзы...

Я во все глаза смотрел на Дмитрия Григорьевича. Он мно-

гозначительно улыбнулся.

– Да, мой друг... Вот такая история...

Я никогда не был сторонником всяких слухов и сплетен, а тут совсем смутился, и, желая перевести разговор на другую тему, спросил только.

– И какова судьба ваших шедевров?

Левицкий поморщился.

– Ну, не надо таких громких слов, мой друг... Я о своих творениях так никогда не думаю. Иван Иванович сказал, что императрица желает сразу после торжественного выпуска первых «смолянок», разместить эти портреты по своему вкусу на женской половине в Петергофе.

Конечно, о том выпуске было много в нашей столице самых разнообразных слухов. Кто-то хвалил Бецкого за создание Смольного института, кто-то считал, что его идея воспитания нового поколения русских женщин – чистой воды фантазия влиятельного вельможи под давлением императрицы... Говорили, что вместо воспитания добродетельных жён и матерей, Смольный воспитал плеяду светских дам. А по Петербургу гуляла эпиграмма, которую приписывали не кому-нибудь, а самому Денису Фонвизину.

«Иван Иванович Бецкий

Человек немецкий

Носил мундир шведский,

Воспитатель детский,

В двенадцать лет
Выпустил в свет
Шестьдесят кур,
Набитых дур...»

Мне, конечно, было несколько обидно за девушек. Конечно, как показало время, из большинства из них не вышло никаких знаменитостей. Но невозможно было всех подряд назвать «набитыми дурами». Лучшие выпускницы стали фрейлинами Великой княгини Натальи, императрицы Марии Фёдоровны, о судьбе Нелидовой – вообще разговор особый. Глафира Алымова тоже стала фрейлиной самой императрицы.

Не мне судить об отношениях Бецкого и Алымовой. Много слухов по Петербургу ходило по этому поводу. Говорили, что по его распоряжению, они с мужем были вынуждены жить в его доме. Болтали, что он входил к ним в любое время без приглашения, и так им докучал, что они сбежали от него в Москву. Но Бецкому было уже очень много лет, и здоровье его ухудшалось с каждым днём. Забегая вперёд, скажу, что постепенно он стал отходить от дел. И, говорили, что даже императрица теперь по его поводу иногда отпускала ядовитые шутки. Ну, а после смерти государыни и отъезда пассии Глафиры с мужем, у Ивана Иваныча случился удар. Его парализовало, он ослеп и окончательно помутился рассудком. Смерть его прошла для России почти незамеченной. Только добрейшей души человек Гаврила Романыч Державин по-

святил ему трогательную оду «На кончину благотворителя». Особенно трогательные её строки я всегда вспоминаю, когда мы с женой гуляем, проходя мимо дома Бецкого, что у Летнего сада. Домом этим давным-давно владеют другие известные люди, но мне жаль, что память об этом государственном деятеле так быстро покинула Россию, и даже наш Петербург. Жена моя, Наташа, всегда чутко чувствующая моё настроение, иногда сама начинает читать эти памятные для меня стихи, а я тихонько ей вторю...

... «И ты, наш Нестор долголетний
Нить прервал нежных чувств своих;
Сто лет прошли – и не приметно.
Погасло солнце дней твоих!
Глава сребрится сединами
И грудь хотя горит звездами
Но протекла Невы струя:
Пресеклась, Бецкой, жизнь твоя»...

На следующий день после посещения дома Левицкого я помог Николаю переехать к Бакунину. Конечно, здесь он получил апартаменты значительно обширнее и удобнее, чем ему были предоставлены Соймоновыми, которые и сами жили довольно скромно по сравнению с жизнью тех же Нарышкиных или Бакуниных. Скучное Петербургское солнце, едва появляясь, немедленно освещало всё пространство огром-

ной комнаты, которую скорее можно было бы назвать «залой». Поскольку эта «зала» находилась в углу большого дома, то окна из неё выходили как на восток, так и на юг, и, если уж появлялось солнце на небе, то оно светило почти целый день, переплывая с одной стороны на другую. Красивый мраморный камин украшали позолоченные жирандоли, удобная кровать была широкой и в изголовье украшена забавными фигурками амуров. Впрочем, Николаю редко приходилось пользоваться всем этим великолепием. Едва приступил он к курьерской службе, как немедля был отправлен за границу. Дорога туда и обратно занимала немалое время, да и в местах назначения, куда он был направлен, необходимость заставляла его оставаться на довольно длительное время. Помню, что города и страны в его рассказах мелькали бесконечно. Многие названия городов я вообще впервые слышал именно от Николая и приставал к нему с расспросами. Посещение Гамбурга сменялось у него поездкой в Копенгаген, оттуда – в Лондон, а после – то в Париж, то в Италию... Сейчас я уж и не припомню, в каком порядке были те разъезды.

Едва Юрий Фёдорович вернулся в Петербург, я пришёл к нему в кабинет и низко поклонившись, поблагодарил за всё, что он для меня сделал за эти прошедшие годы. Юрий Фёдорович искренне обрадовался тому, что у меня теперь будет прекрасное место, где я смогу проявить свои не только кулинарные, но и организаторские способности, и пожелал

мне самых больших успехов. На прощание я приготовил ему его любимый баумкухен и много всяческих сладостей, к которым он имел немалую слабость.

Но переехать в дом Бакуниных я не успел: из Черенчиц пришло трагическое известие – от болезни сердца скончался мой батюшка, и я поспешил в имение Львовых. Конечно, на похороны я не успел. Вместе с сёстрами Николая отправились мы на погост под сильным осенним дождём. Девушки, указав мне место, где упокоился мой родитель, сразу ушли. А я долго стоял у свежей могилы, которую размывал ливень, плакал, а после вернулся в наши семейные комнаты в кухонном флигеле, в которых прошло моё детство и юность. К вечеру ко мне постучалась горничная и сообщила, что Прасковья Фёдоровна, матушка Николая, ждёт меня в гостиной. Когда я вошёл к ней, все свечи в доме были уже зажжены, Прасковья Фёдоровна сидела у широкого обеденного стола и перед ней стояла большая шкатулка из резного дерева, принадлежавшая когда-то моей матушке, и в которой мой отец хранил свои сбережения.

– Вот, Карлуша... – Сказала Прасковья Фёдоровна, – в этой шкатулке всё твоё наследство. Батюшка твой перед смертью успел меня призвать и просил передать тебе своё благословение. Мы вместе с ним пересчитали его сбережения, надо сказать, они весьма внушительные. Как объяснил он мне, начало было ещё в Тобольске положено, старик Соймонов на благодарность за труды не скупился. Да и матушка

твоя тоже немалое жалованье получала. Ну, а в Черенчицах ему особенно не было нужды тратиться, всё для тебя берёг...

Я не сдержался и заплакал. Принял от Прасковьи Фёдоровны драгоценную шкатулку, прижался губами к её морщинистой руке, она меня благословила, и поцеловала в лоб.

Долго оставаться в Черенчицах я не мог, потому уже на следующий день заторопился в Петербург. Любезная Прасковья Фёдоровна предоставила мне свою коляску до Торжка, а там я пересел в почтовую карету, и с горя тихонько плакал в замызганном углу экипажа, не замечая дорожных рытвин и ухабов.

Дядя Ганс крепко обнял меня по возвращении, и мы просидели с ним до рассвета в моей комнате, тесно прижавшись друг к другу. Остались мы с ним одни из нашего старинного немецкого рода. Но мне надо было готовиться к переезду и дядя Ганс, кажется, был взволнован более меня самого моим новым назначением. Он помог мне собрать немногочисленные пожитки и всё наставлял и советовал, как мне поступать в том или ином случае. А после взял с меня страшную клятву, что я не буду ничего решать сгоряча, и при любом конфликте с подчинёнными кухонными работниками или (не дай бог!) с самими хозяевами буду прежде всего советоваться с ним. Юрий Фёдорович даже предоставил мне для переезда свой экипаж, и весьма возбуждённый дядя Ганс проводил меня до нового места назначения.

Дворецкий в доме Бакуниных, имея распоряжение хозяи-

на, поселил меня в прекрасной комнате большого кухонного флигеля. Два русских повара из крепостных встретили меня без особого восторга, но я, уже имея определённый опыт общения со своими собратьями в чужих домах, был к этому вполне готов. Как только стихло всё в огромном доме, я отправился на кухню. От природы я всегда был человеком ответственным, ну, а по молодости лет, конечно, весьма самоуверенным. Едва устроившись на новом месте, собрав всю многочисленную крепостную кухонную прислугу, включая работных баб и кухонных мальчиков, я заявил, что поскольку я теперь над ними первый начальник, то подчиняться они мне должны беспрекословно под страхом отправки в деревню, к которой приписаны. А там их, конечно, ждала незавидная судьба, зависящая от воли управляющего имением, который мог отправить и на скотный двор, и на конюшню, и высечь за любую пустяшную провинность. Слушали они меня с заметным страхом в глазах и дружно кивали головами в знак согласия. И так дружно, что мне их даже жалко стало. Потом я оставил одних поваров и чётко распределил между нами обязанности по приготовлению еды для хозяев и слуг, и особенно угощений для званых обедов и ужинов, которые в этом доме случались почти ежедневно.

Поскольку основную нагрузку я взял на себя, не зная достоверно об умении каждого из поваров, то они довольно быстро успокоились и дали мне твёрдое слово, что будут обо всём советоваться со мной, по крайней мере, на первых по-

рах, пока я ещё не знаю, на что способен каждый из них.

В тот же день я был приглашён и к хозяину дома. Мы поговорили совсем недолго, но, кажется оба остались удовлетворены встречей. Бакунин сообщил мне, что от господина Львова он получила самую лестную мою характеристику, а про моё кулинарное искусство, особенно по части приготовления кондитерских изделий, он и сам слышал немало лестных отзывов от своих знакомых и друзей.

Николай по-прежнему находился на военной службе, исполняя при том многочисленные и весьма ответственные обязанности курьера Коллегии иностранных дел. Но, конечно, не без очередного вмешательства Бакунина он принял, наконец, решение оставить военную службу.

И вот я снова держу в руках памятный Аттестат Николая Александровича Львова. Переписываю следующие строки слово в слово.

«...1775 года 10 июля на поднесенном от означенного полку ее императорскому величеству докладе и на оной последовавшей высочайшею ее величества конфирмациею пожалован он Львов с прочими от армии капитаном и 1776-го 5 июня по прошению его, а по определению помянутой Коллегии в рассуждении знания его италианского, французского и немецкого языков принят в оную тем чином для употребления его на оных языках в переводах и других делах...».

Итак, с военной службой Николай расстался навсегда.

Конечно, долгие разлуки с другом меня весьма огорчали,

но наша сердечная связь не прерывалась и в доме Бакунина. Мы по-прежнему были по-родственному близки, если он задерживался в Петербурге, мы опять проводили долгие ночные часы в тесном общении. Николай подробно рассказывал мне о своих делах, не вникая в служебные подробности, о которых мне знать не следовало. Я, со своей стороны, забрасывал его своими вопросами о неведомых мне в те годы странах, о людях, об их традициях и привычках. Ну, и конечно, о предпочтениях в еде. Это была моя постоянная просьба к другу – по возможности узнавать рецепты тех блюд и десертов, которые ему особенно понравились, если удастся – подробно их записывать. Особенно меня интересовало мороженое, которое так любила наша государыня. Из царского дворца любовь к этому новому в России десерту быстро перекочевала в знатные дома Петербургских вельмож. Ума не приложу, где доставали рецепты его приготовления повара именитых господ. Конечно, привозили их под строжайшим секретом приглашённые французские и итальянские повара, но узнать их профессиональные тайны было практически невозможно. Мне кажется, Николай сам вошёл в свою роль, и какие-то тайны французского стола ему удалось выведать в Европе и даже кое-что записать. Он часто, смеясь, поговаривал, что если из него не выйдет путёвый дипломат, то пойдёт он служить ко мне в должности такого кухонного шпиона...

Но его шутки задевали во мне давно звучащие тайные струны. Дело в том, что я давно мечтал об устройстве соб-

ственного кондитерского предприятия. Но до недавнего времени это были мечты, основанные только на моей фантазии, они не имели под собой никакой реальной почвы. Но когда после смерти батюшки я получил весьма приличную сумму наследства и прибавил к нему свои собственные сбережения, то с природной немецкой педантичностью рассчитал на бумаге все свои финансовые возможности и к своей несказанной радости понял, что мои мечты вполне могут стать реальностью. В своём деле я чувствовал себя вполне уверенно. Конечно, не обходилась эта уверенность от самоуверенности молодости, но без этого, кто и когда начинал своё предприятие? Кстати, Николай сдержал своё слово и основам черчения меня научил. И даже дал мне несколько уроков по основам архитектуры.

Я лепил из простого теста гладкие шары, различные пирамидки, некое подобие античных храмов или замков, а мой друг либо беспощадно меня критиковал, либо исправлял то, что можно было исправить. А несколько раз даже похвалил! Так что архитектурные сооружения из мороженого или бланманже меня теперь нисколько не пугали, а всё прочее я уже давно изготавливал безукоризненно и весьма легко осваивал новые рецепты выпечки, которые мне привозил Николай из Европы. Благодаря многочисленным гостям дома Соймоновых, и тем паче, Бакуниных, моё кондитерское искусство стало весьма популярным в Петербурге. Меня наперебой приглашали на званые вечера в разные известные

дома, и хозяйева мои нисколько не возражали против того, даже гордились, что именно их кондитер славится среди столичных гурманов. Могу с гордостью добавить, что моя знаменитая кулебяка в двенадцать слоёв, и «пирожки от Кальба», которые я выпекал с вареньем, грибами и капустой, к тому времени уже давно были известны не только в Петербурге, но и в Торжке, и в Тамбове, и в Вологде и даже в Москве. Их развозили по губерниям разные люди: и господа, путешествующие из Петербурга по своим делам, и курьеры, и фельдъегеря и даже ямщики. По прибытии на место назначения выпечка эта заворачивалась в горячие полотенца, разогревалась, и её фантастический вкус от этой дорожной экзекуции нисколько не менялся.

Конечно, я знал, что в Петербурге то тут, то там открывались кондитерские, где торговали всякими сладостями и выпечкой навынос. Но мне это было совсем неинтересно. Я мечтал не о том. Моя будущая кондитерская не должна была быть ни лавкой, ни магазином. Я хотел, чтобы она стала уютным местом в городе, где широкие удобные столы были бы накрыты вышитыми скатертями, куда днём приходили бы гувернантки с детишками попить ароматного чаю с разными вкусами, а по вечерам собирались бы друзья, меж которыми велись бы увлекательные беседы о самых разных сторонах жизни... Каждый посетитель, каждый желающий, мечтал я, с удовольствием проведёт здесь время, читая не только Петербургские газеты и журналы, но даже ино-

странные, которые я планировал выписывать из-за границы с помощью Николая. Впрочем, торговлю навывнос тоже можно оставить, лишние деньги никогда не помешают.

Поскольку жизнь моя, в основном, протекала на Васильевском острове, хоть и мало у меня теперь было свободного времени, но стал я заходить в разные мастерские успешных людей, которые, как правило, были немцами по происхождению. Заходил, осматривался, осторожно расспрашивал хозяина о том, как идут дела. Не всегда удавалось поговорить откровенно, на меня смотрели подозрительно, успокаивались только, когда я объяснял, кто я таков. Приходилось пускать в ход дипломатию, которой в те годы я не слишком владел, привирать, что мне очень нравится это заведение, что много лестных слов слышал о владельце, ну и всё прочее. Впрочем, мне довольно было осмотреться, перебросятся парой фраз с приказчиком, чтобы многое понять и о многом догадаться. А каких только немецких мастеровых не было тогда на Васильевском острове! Портные, ювелиры, музыкальные мастера, лекари, аптекари... Даже немецкие мальчишки-трубочисты предпочитались у заказчиков более других – ведь их надо было для работы впускать в свой дом. Они пользовались большим уважением у жителей столицы за свою отличную работу, честность, порядочность, педантичность.

Дядя Ганс со многими из них был знаком, изредка ходил к кому-нибудь в гости или приглашал к себе, когда получал

заслуженный выходной или Соймоновы надолго отлучались из Петербурга и на кухне было мало работы... Я попросил его свести меня с особенно успешными людьми. Он удивился, пожал плечами и согласился. Собравшись с духом, я рассказал дяде о своих планах, к которым он отнёсся с явным недоверием. Но подумав несколько, вдруг сказал мне, что готов снабдить меня необходимой суммой, когда она мне понадобится. В разумных пределах, конечно.

Я расчувствовался, расцеловал его и от души поблагодарил. Конечно, у дяди Ганса тоже были немалые средства ещё с губернаторского дома в Тобольске. После смерти моего деду, они поделили наследство своего отца пополам с моим батюшкой. Дядя Ганс получал достаточное вознаграждение в доме Соймоновых, и жил у них на всём готовом. Он был одинок, скромен в своих потребностях и заверил меня, что с радостью поможет своему племяннику, единственной родной душе, в его весьма рискованном предприятии. Конечно, я понимал, что мне поначалу не хватит собственных средств, брать в долг я мог только у дядюшки, но только в долг! Ни о каких безвозмездных тратах чужих средств даже речи быть не могло. Дядя Ганс знал, что моему слову можно верить. На том мы и порешили. Я внимательно ознакомился со списком домов, выставленных на продажу на Васильевском острове. Два первых, которые я внимательно осмотрел, мне не понравились: находились они достаточно далеко, в глубине острова, и были какими-то неудобными и неподходящими для

моего предприятия. А вот третий дом мне показался весьма привлекательным. Он был полутораэтажным, как тогда строили. Низ каменный, основательный, а сверху постройка деревянная, добротная. Внутри дом выглядел крепким, просторным, с высокими потолками, с многочисленными кладовыми, чуланами и глубоким чистым погребом, что мне было просто необходимо для будущего хозяйства. На первом этаже было несколько небольших комнат, которые я сразу решил объединить в большую залу. Более всего меня удивило, что хозяин дома был не только вполне обеспеченным человеком, но и весьма современным: все комнаты отапливались голландскими печами, отделанными скромным, но изящным изразцом. А на кухне, к моему несказанному удовольствию, была установлена удобная металлическая плита, украшенная причудливым чугунным литьём, которая, по словам хозяина, была приобретена всего два года назад. В общем, размечтался я по-настоящему. Кроме всего прочего, находился этот дом на Кадетской линии. Можно сказать, в центре города. Он был совсем недалеко от дома Соймоновых, то есть по соседству с живущим там моим дядюшкой, и, как потом, к моей несказанной радости, оказалось, рядом с моим будущим жилищем, в которое я переселился в скором времени и счастливо проживал там долгие годы. Я готов был купить этот дом немедленно, о чём тут же сказал хозяину, сопровождавшему меня. Но для окончательного решения мне нужен был совет Николая. Я не мог сдержать улыбки, пред-

ставляя его удивление, когда он услышит о моих планах, но ничего рассказать ему не успел: он опять надолго уехал сначала за границу, а потом в Черенчицы. Тогда, как говорится, замурив глаза и воззвав с молитвой к Всевышнему, я этот дом купил. Кроме дяди Ганса об этом подвиге моём никто не знал.

Я продолжал служить на кухне у Бакуниных, готовил выпечку по приглашению в домах их друзей и знакомых, но теперь к своим заработанным деньгам я стал относиться серьёзно, не то что в прошедшие годы юношеского легкомыслия. Я с нетерпением ожидал возвращения своего друга, но вернулся он из Черенчиц только к Рождеству с целой телегой гостинцев. Отдохнув от дороги, он со смехом рассказывал мне:

– Представляешь ли... Я только что из Парижа... Из самого Парижа! Заявился в Черенчицы во фраке и с белой пудрой, надо же было предстать перед родными в полном заграничном блеске! Матушка и сестрицы были от моего вида в восторге, а мужики наши от меня шарахались, как от пугала, шептались за моей спиной и пожимали плечами, явно опасаясь за моё здоровье...

Я сдержанно улыбнулся, поскольку был настроен на весьма серьёзный разговор.

– Послушай, Николай... Вряд ли ещё будет время поговорить... Мне нужен твой совет.

Уловив серьёзность в моём тоне, он внимательно посмот-

рел на меня.

– Я слушаю тебя, дружище.

Довольно сбивчиво, но возбуждённо я изложил ему суть дела. Признался, что уже купил дом, который, в случае моей нерешительности, мог быть куплен кем-то другим. Подробно объяснил, почему дому этому нужна основательная переделка, чтобы в ней могла разместиться кондитерская моей мечты.

– Я очень рассчитываю на тебя, на твой опыт в строительстве. – Закончил я свою пламенную речь. – Ты ведь не раз сказывал, что помогал в подобных делах то одному своему другу, то другому. И мне доподлинно известно, что все они были очень благодарны тебе за помощь и деловые советы.

Николай слушал меня потрясённый. Потом покачал головой и с улыбкой произнёс.

– Ну, домовладелец, я поздравляю тебя. Тут ты меня перещеголял. Я о том и мечтать не смею. На строительство собственного дома у меня сейчас ни денег, ни времени нет. Конечно, я тебе помогу и не только советами: я тебе людей подыщу, которые всю необходимую работу по переделке твоего дома выполнят. Есть у меня на примете такая артель, в ней умельцы честные, порядочные. Денег попросят ровно столько, сколько эта работа будет стоить. Сам за ними и надзирать буду, поскольку ты в строительстве ничего не понимаешь. В Петербурге я, видимо, задержусь надолго, меня Безбородко теперь от себя ни на шаг не отпускает. Видишь ли,

императрица объявила конкурс на проект собора в Могилёве, где она только что провела успешные переговоры с императором священной Римской империи Иосифом. Так вот Безбородко, который головой отвечал за организацию этих переговоров, ещё более приблизился к императрице и теперь меня просто понуждает принять участие в том конкурсе. Он уверен, что если я решусь, то мой проект непременно станет лучшим.

– А ты что? Думаю, это предложение весьма заманчиво?

– Ещё как! Но это – работа серьёзная. Глубокая. Это ведь не просто красивую картинку нарисовать. Надобно все детали строительства продумать... Опыта у меня, ты знаешь, никакого, а участники этого конкурса – архитекторы давно известные. Мне с ними соревноваться боязно.

– Перестань, Николай! – Горячо поддержал я друга. – От всего сердца желаю тебе удачи! Ты работай, а там, как бог решит.

– Да, Карлуша. Я тоже так думаю. Всё в воле Божией. А работы предстоит много.

И, увидев мою разочарованную физиономию, добавил успокаивающе.

– Дел у меня, конечно, выше головы, но найдётся время и для твоего дома. Обещаю твёрдо. Как я понял, Бакуниным ты пока не сказывал ничего о своих планах?

– Ни в коем разе! – Замахал я руками. – Сейчас всё идёт прежним чередом. Пока дом не переделаю – мне деваться

некуда. Ты тоже ни в коем случае им ничего не говори.

– Да уж конечно... У меня с Павлом Васильевичем и без того много тем для разговоров. Жди меня, Карлуша. Как только выкрою время, непременно осмотрим твой дом.

Должен я вам объяснить, любезные читатели, что занятый своими грандиозными планами по организации собственно-го дела и ежедневными хлопотами в кухонном флигеле Бакуниных, я пропустил очень важный момент в жизни Николая. За это время из самого обыкновенного, хоть и весьма способного дипломата, он вдруг стал начинающим, но уже известным архитектором. Я просто диву давался, когда вдруг понял, какая произошла с ним метаморфоза. На все мои вопросы, когда и где обучился он сему сложному искусству, мой друг только отшучивался, и говаривал, что его учителем был сам Господь Бог, что научил он его нашествием Духа, и не только научил, но и повёл за руку по сложной дороге строительства изумительных церквей, благословляющих силу Его. Видимо, так оно и было – Николай, в благодарность Всевышнему, за свою короткую жизнь успел построить множество церквей. И каких прекрасных!

Наверно, не все проекты своего друга я знаю, но даже из того, что я помню, устанешь перечислять: в самой Москве и Московской губернии, в самом Торжке и в Торжковском монастыре, в многочисленных Торжковских имениях богатых людей, где господа вдруг все разом решили заменить свои полуразвалившиеся деревянные церкви на изящные камен-

ные, на центральных площадях городов в Смоленской, во Владимирской, даже в Оренбургской губерниях – везде о замечательном зодчем Николае Львове память сохранена в виде прекраснейших храмов и скромных домашних церквей. Ну, а про Петербург я вам, любезные читатели, даже стыжусь напоминать: пред вашими очами всегда стоит изящная церковь в имении Воронцовых в Мурино, что на выезде из столицы, и очаровательный храмовый комплекс, который в народе тут же прозвали «Кулич и Пасха», поскольку по внешнему сходству церковь и колокольня очень напоминают сии кулинарные изделия.

Но конечно, в самом начале карьеры Николая, как архитектора, ведущую роль играл Александр Безбородко. Он был дружен с Бакуниным, в доме которого и познакомился со Львовым, быстро разгадал его таланты и приблизил к себе.

Когда Никита Панин с почестями был отправлен в отставку, талантливый, вездесущий секретарь императрицы Александр Андреевич Безбородко занял ведущую роль в Коллегии иностранных дел. Я никогда не встречался с ним лично, но мельком видел его несколько раз в доме Бакуниных. Внешне он показался мне вовсе непривлекательным: какой-то неуклюжий, тучный, с отвисшими щеками, небрежно одетый. Но, как сказывал мне Николай, все серьёзные международные переговоры, велись теперь только при его организации и непосредственном участии. Львова восхищала поразительная работоспособность Александра Андрееви-

ча, который обладал феноменальной памятью и, между прочим, мог цитировать библию с любого места. В общении с людьми Безбородко был приветлив, добр и щедр. Но в доме Бакунина я не раз слышал, что несмотря на свои блестящие успехи на дипломатическом поприще и всё большее доверие императрицы, в личной жизни он был не безгрешен: любил роскошь, имел слабость к женщинам, как ни странно, самой низкой репутации. Николай редко высказывался по этому поводу, но кое-что у него тоже проскальзывало. Конечно, не мне – обывателю, скромному труженику кухонного флигеля судить об этой грандиозной личности. О Безбородко много памятных записок оставлено, кому будет интересно – всегда может с ними ознакомиться.

Итак, я терпеливо ждал. И вот однажды Николай приехал к Бакуниным в неурочное утреннее время. В те времена, засидевшись с гостями до глубокой ночи, господа поднимались с постели поздно, крепко почивали и вставали не ранее двенадцати часов. В доме Бакуниных по утрам всегда было тихо. Николай вызвал меня из кухонного флигеля и сообщил, что часа на три он свободен и готов заняться моими делами. Я бегом вернулся на кухню, оставил вместо себя надёжного своего собрата, с которым за прошедшее время подружился, быстро переоделся и выскочил на улицу. Время было ранней весной, и я был несказанно рад, что мой новый дом мы будем осматривать не при свечах, а при дневном свете. Николай ждал меня в наёмном экипаже, и мы поехали на Васи-

льевский остров.

Мой друг был бодр и деловит. И довольно посмеивался над чем-то. Он тут же начал мне рассказывать о своём новом приятеле Гавриле Державине, намного бывшим его старше. Гаврила Романыч, был так же страстно влюблён в литературу, как и мой друг, недавно счастливо женился, получил в приданное дом в центре города, и вся литературная братия постепенно переселилась из дома Бакуниных в его гостеприимный жилище. Николаю Державин сразу полюбился, они крепко привязались друг к другу и, как всегда у Львова бывало, привязанность эта продлилась всю его короткую жизнь, в конце которой стали они даже родственниками.

Но в тот момент я был поглощён своими делами, Державин меня не очень интересовал, а усмешка Николая даже обижала.

– И чего ты всё хихикаешь, Николай? – Не выдержал я. – Я тебе кажусь таким смешным?

– Ну, уж нет! – Он обнял меня за плечи. – Ты, Карлуша, в своих проектах великолепен. А хихикаю я, как ты изволил выразиться, над нашими делами с Гаврилой Романычем. Дела-то, на самом деле, вполне важные и серьёзные. Он ведь служит по хозяйственной части и по должности своей надзирает над строительством зала общих собраний Сената. А мне, по его ходатайству, поручено составить описание аллегорических барельефов, что расположены по его стенам. Мы с Гаврилой только что были там. Стройка – есть стройка:

пыль, грязь, рассыпанная по полу штукатурка... Но барельефы выполнены вполне достойно, да только беда в том, что генерал-прокурору не понравилось, что Истина на них представлена обнажённой. Он приказал её приодеть, немедленно. – Николай громко расхохотался. – Ты представляешь? Гаврила страшно злится, а я не могу удержаться от смеха: в Сенате всё точно так и есть: бесстыжая Истина и голая Правда должны быть всегда прикрыты...

Наконец, мы остановились на Кадетской линии. Я очень волновался, у меня даже руки дрожали. Николай внимательно осмотрел дом снаружи, несколько раз обошёл его кругом. Не произнеся ни слова, слезал на чердак и проверил крышу, спустился в погреб. И только после это вошёл в дом. Я со страхом ждал его приговора, но для себя решил: чтобы он ни сказал, я от своего решения не отступлю.

Наконец приветливая улыбка появилась на его лице. Я облегчённо вздохнул.

– Ну, Карлуша, от души тебя поздравляю. Хоть ты ничего не смыслишь в домостроительстве, но интуиция тебя не подвела. Дом вполне неплох. Конечно, в нём есть определённые изъяны, но их несложно устранить при ремонте. Теперь рассказывай, как ты хочешь свою кондитерскую здесь организовать...

Мы долго обсуждали, как будет устроена кухня, как я хочу соединить комнаты в одну залу для посетителей, как планирую расположить прилавки, где буду принимать посетите-

лей... Один из чуланов решено было переделать в мой рабочий кабинет, в котором будут находиться все расчётные бумаги и тетради, а для моего проживания – приспособить самую большую комнату, имевшую отдельный вход с улицы. Николай обещал сегодня же составить подробные чертежи, и составить план строительных работ. И, конечно, хотя бы приблизительно прикинуть, сколько такая переделка дома будет для меня стоить. На ремонтные работы деньги у меня ещё оставались, а вот далее, на организацию самого дела придётся мне брать в долг деньги у дяди Ганса.

Ну, вот. А теперь, отвлѣкшись от рассказа о своих героических планах, я приступаю к описанию событий в нашей личной жизни – и моей, и моего любимого друга. Событий, которые в корне изменили существование каждого из нас.

Начну с того, что именно тогда, под влиянием Бакунина, несмотря на свою напряжённую жизнь, Николай страстно увлѣкся театром, и не как дилетант, а как вполне осведомлённый в этом искусстве человек. От него я узнал, что интерес к театру возник в наше время не вдруг и не на пустом месте. Оказывается, ещё при Елизавете Петровне театральные представления были постоянным атрибутом всех столичных празднеств и торжественных приёмов. Сама императрица, была большая любительница театральных и маскарадных представлений, и присутствовала почти на всех любительских спектаклях в Шляхетном корпусе и, по слухам,

со смехом помогала кадетам, исполнявшим женские роли, наряжаться в дамские одежды ... В конце семидесятых годов театральный ветер прилетел в Россию из столиц Европы и полонил весь Петербург. Конечно, главным источником этого увлечения был императорский дворец. Здесь в Эрмитажном театре ставились любительские спектакли для избранной публики, приглашённой лично императрицей. Она сама написала множество пьес, некоторые из которых я читал в доме Бакунина. Они носили более всего нравоучительный характер, но после позорного изгнания из Петербурга Калиостро и Сен-Жермена две пьесы имели сатирическую и обличительную цель, высмеивая этих жуликов и обманщиков. Вслед за государыней Петербургская знать стала организовывать и собственные домашние театры. Некоторые спектакли на этих сценах вызывали самые искренние восторги Петербургской публики, некоторые – иронию и насмешку. Но страсть к театру продолжала нарастать и развиваться. Государыня более всего полюбила итальянские оперы? Ну, что ж! Начали ставить в знатных домах и оперу, которая в те годы стала, пожалуй, самым популярным развлечением. Как правило, в домашних спектаклях были заняты все члены семьи, что, как я теперь – старый глава семейства понимаю, было очень важно в воспитательном и в просветительном отношении.

В доме Бакунина тоже ставились великолепные любительские спектакли, на которые собиралось немало страстных

любителей театра. Среди них были старые мои знакомцы, в том числе любимый мною Василий Капнист, но было и достаточно людей, которых я видел в первый раз, но которые в Петербурге были личностями весьма известными.

Так Дениса Фонвизина, нашего талантливоего сочинителя, видел я в гостях у Бакунина только мельком несколько раз. Знаменитую его пьесу «Бригадир» мне подарил в списке Николай, и я зачитал её, в самом прямом смысле, до дыр... Бывало, только начнёт одолевать осенняя хандра, или случится что-то неприятное на кухне, тут же хватаю сию пьесу, и плохого настроения как не бывало!

Но, забегаая далеко вперёд, должен я поведать, дорогой читатель, о своей единственной встрече с этим великим мастером в доме Державина, которая произошла много лет спустя, в 1792 году. Литературному обществу Петербурга в те дни хорошо было известно, что Фонвизин давно и тяжело болен, по слухам, постигли его несколько ударов, в результате которых он был почти парализован и с трудом разговаривал. Но, как оказалось, продолжал работать! В тот памятный вечер я появился в гостях у Гаврилы Романовича в его любимом доме на Фонтанке, совершенно случайно. Мы только что вернулись с женой и детьми из длительной поездки в Европу. Я привёз Державину послание от его давнего французского друга и пришёл к нему без предупреждения. К своему несказанному удовольствию, застал я у него многочисленное литературное общество. С большинством гостей был я хорошо

знаком с молодости, кого-то видел впервые, и радушный хозяин тут же меня с этими господами познакомил. Меня забросали вопросами о последних новостях парижской жизни, я не успевал отвечать. Но вдруг Денис Иванович вошёл к нам в кабинет, поддерживаемый двумя молодыми людьми. Одна рука его вовсе не действовала, и ногу он приволакивал... Слова он произносил с невероятным трудом, но сумел сказать, что принёс для Державина свою новую комедию «Гофмейстер». Это известие произвело необыкновенное возбуждение среди гостей. Все начали просить разрешения прочитать её вслух для всех присутствующих. Фонвизин не дал себя долго упрашивать, и кто-то тут же начал чтение. Комедия была очень смешна, Денис Иваныч, насколько мог, выражал своим видом чрезвычайное удовольствие, так же, как и мы, он смеялся, но крупные слёзы падали при этом на его грудь... Я очень сожалел, что Николай отсутствовал в тот вечер по своим бесконечным делам, после он очень печалился о том, поскольку это было последнее появление Фонвизина перед потрясённым обществом писателей, поэтов и знатоков литературы. Утром следующего дня мы получили печальное известие – нашего выдающегося писателя не стало...

Это моё грустное отступление я считал нужным привести, продолжая разговор о любви Петербурга к театру. Итак, я остановился на том, что домашние театры в домах знати развивались и множились.

Бакунин не отставал: решив устроить очередной домаш-

ний спектакль, он попросил Николая его поставить.

Вот тут-то и началась эта романтическая история, можно сказать, две романтические истории, развивающиеся почти параллельно: моя собственная – очень простая, обыкновенная и счастливая, и весьма сложная, запутанная любовная повесть Николая, которая спустя несколько лет бурно обсуждалась во всех известных домах Петербурга. Да простит меня мой любезный читатель: мне придётся так или иначе перескакивать с одного повествования на другое: рассказывать, то о любви Николая, то о моей собственной.

Итак. Николай с удовольствием откликнулся на просьбу своего патрона, и поставил даже не один, а целых два спектакля, которые имели большой успех среди изысканной публики Петербурга. Сначала были поставлены комедия Реньяра «Игрок» и «опера-комик» «Колония», кажется, Антонио Саккини. Главные партии пели сестры Дьяковы, Машенька и Катрин. В комической опере «Колония» роль поселянки Белинды играла Машенька Дьякова, исполняла свою роль так хорошо, что спектакль ставился несколько раз. Я, конечно, был занят на кухне, но видел почти все репетиции, и, как прочие весьма искушённые зрители, вкусам которых можно доверять, я был в восторге от пения Машеньки Дьяковой. Успех спектаклей «Игрока» и «Колонии» был столь несомненный, что молодежь решила продолжить свои постановки, и следующей пьесой была избрана «Дидона» Якова Княжнина, – лучшая из его многочисленных пьес. Героиней

её была дочь царя Тира Дидона, по Римскому преданию – основательница города Карфагена, возлюбленная легендарного Энея, троянского героя. Машенька Дьякова в роли Дидоны была в этой трагедии просто великолепно. По всему было видно, что ей очень нравился образ сильной, умной, горячо полюбившей женщины, отвергающей ради этого чувства союз с нелюбимым ей человеком, престол и свободу. В финале трагедии Карфаген охвачен пожаром, и Дидона кончает с собой, бросаясь в огонь. По Петербургу в знатных домах долго ещё с восторгом обсуждали её страсть и выразительность в этой роли.

Из пяти сестёр Дьяковых Машенька была не только самой заметной девушкой, но и самой талантливой. И в молодости, и в зрелые годы она не отличалась особенной красотой, но было в ней что-то необыкновенно притягательное. Она всегда была проста и естественна в обращении, имела острый женский ум с известной долей лукавства.

И, конечно, не могло не случиться того, что случилось: они с Николаем полюбили друг друга. Общее дело, любовь к музыке и театру, эти спектакли, имевшие в Петербурге такой успех, очень их сблизили. Я не узнавал своего друга – он был всё время радостно возбуждён, глаза его горели, он часто говорил стихами, придумывая весьма смешные экспромты...

А теперь, мои дорогие читатели, должен я Вам объяснить, почему романтическая любовь Николая оказалась накрепко связана с моей судьбой.

Начну с совершенно неожиданного отступления. В доме обер-прокурора Дьякова было шесть женщин – пять дочерей на выданье и жена. И потому он должен был заботиться не только о пропитании своего большого семейства, но и о туалетах своих дам. Выписывать платья из Европы для всех шестерых, как делают господа в богатых домах, было ему не по средствам, и потому их обшивала испокон веку весьма искусная русская белошвейка. Ей выписывали специальные модные журналы из Франции, шила она превосходно и потому и девицы Дьяковы, и матушка их были всегда одеты по моде и к лицу. А была эта искусная белошвейка (я с полным правом берусь судить о её умении, поскольку был сыном подобной мастерицы и понимал толк в её ремесле) вдовой того самого Семёна Григорьевича Вишнякова, знаменитого гранитчика и каменщика, что нашёл знаменитую скалу в подножие монумента Петру Великому. Его артель долгое время была главной в Петербурге, славилась своим умением и оставила по себе неувядаемый след в памяти благодарных горожан. Семён Вишняков был человеком семейным. Семья его не бедствовала: зарабатывал он немало. Да и жена его тоже на печке не сидела, обшивала в Петербурге многих знатных дам и господских дочек, за что ей весьма щедро платили. Особенно привязались к ней дочери и жена обер-прокурора Дьякова, да так, что стала она своим человеком в их доме. Жили Вишняковы в любви и согласии на Васильевском острове, в собственном доме, крепком, доброт-

ном, удобном и тёплом. Дом этот поставил сам хозяин, своими умелыми руками, блестяще владевшими плотницким ремеслом. Родилась у них долгожданная дочь, которую назвали Натальей, Наташей. Крестили девочку в день памяти великомучеников Натальи и Андриана, которые положили жизнь свою за имя Христово. И когда Наташа подросла, отец не раз, то ли шутя, то ли серьёзно, говаривал ей, что она должна выйти замуж только за человека с именем Адриан... Всё было хорошо у Вишняковых, да только случилась какая-то беда при разгрузке гранита, придавило мастера глыбой, и погиб он в полном расцвете сил, оставив безутешную вдову с юной дочерью Наташей на руках. Дьяковы не оставили в беде несчастную женщину, всячески опекали её, а поскольку дочка её Наташа уже овладела искусством матушки своей, то и ей работы в доме, где много женщин, всегда хватало. А тут пришла в Петербург мода на кружево. Кружево теперь было везде – роскошные кружевные салфетки и скатерти, которыми хвалились хозяйки богатых домов, плотными кружевными оборками отделявая глубокие декольте и края своих платьев. Мужчины щеголяли кружевными манжетами и особенно – жабо... Кружева в сочетании с великолепной вышивкой золотом и серебром на одежде знатных персон вызывали зависть и желание подражать. В то время кружево плели многие женщины – не только крепостные девушки, но и мещанки. У жены обер-прокурора была родственница в Вологодской области, весьма богатая помещица. А Вологодчина в те

времена гремела славою своих кружевниц.

Так вот родственница эта образовала у себя в имении целую кружевную артель, и очень выгодно продавала купцам прекрасные изделия. Артель эта трудилась с зари до зари и приносила хозяйке имения весьма большую прибыль. И вот с согласия матушки Наташи, Дьяковы отправили девушку в Вологодскую губернию к этой своей родственнице, надеясь, что в будущем обучение тонкостям кружевного дела будет всем на пользу – и семейству Дьяковых, и самой мастерице. Пробыла Наташа в той кружевной артели почти что год. Хозяйка имения была так ею довольна, что никак не хотела отпускать её домой в Петербург. Наташа ведь не только кружевному делу здесь обучилась впервые, она ещё и до того прекрасно вышивала сложные узоры золотом и серебром. А в сочетании с тонким вологодским кружевом её изделия были просто сказочными на вид. Но пришлось всё-таки хозяйке вологодской артели отпустить свою новую мастерицу. Да только пока ехала Наташа домой, случилась беда – матушка её попала под колёса кареты какого-то знатного вельможи, ехавшего цугом. И хоть кричал ей фореитор своё знаменитое «Пади, пади!», не успела она отскочить в сторону и погибла, затоптанная копытами лошадей. Наташа едва успела на отпевание своей любимой родительницы... Осталась она полной сиротой, но, слава богу! при таланте кружевницы и вышивальщицы.

Дьяковы совещались недолго. Наташу все в доме любили

– и господа, и слуги, она всегда была со всеми приветливой и ровной, всем старалась помочь и услужить. Особенно привязаны были к ней дочери Дьяковых, с которыми она ещё в детстве в жмурки играла. А более всех любила её Машенька. Всем большим семейством принято было соломоново решение – не может жить одинокая девушка в своём доме одна. Забрали сироту в дом обер-прокурора, выделили ей большую светёлку на барской половине, и стала она у них жить в положении не совсем понятном: вроде бы и не родственница, но в почёте и в уважении у хозяев, но и не горничная, хотя работает с утра до ночи. В зимнее время ей специальные канделябры и жирандоли ставили, масляные лампы зажигали, чтобы и тёмными вечерами работать могла. Впрочем, слуги быстро привыкли к её особенному положению: в господских домах чего не бывает... А по распоряжению хозяина, раз в неделю Наташа в сопровождении кого-нибудь из старших лакеев, непременно посещала свой родительский дом, проверяла, всё ли в нём в порядке. Дом этот – наследство родительское, вместе с немалыми денежными накоплениями батюшки и оставшимися доходами матушки были теперь её приданным, за которым, по любви к сироте, зорко следил сам покойный ныне обер-прокурор Сената Алексей Афанасьевич Дьяков. Наташа не раз сказывала мне, что он был человеком весьма образованным, знал несколько иностранных языков, очень любил чтение, особенно исторических книг, и непременно обсуждал прочитанное со своими детьми за обе-

дом в семейном кругу. Так уж случилось, любезные читатели, что через год-полтора после описываемых событий стала Наташа для меня самым близким и дорогим человеком. Как узнал я от Николая, что её имя означает «родная», так чуть не расплакался. Я не буду подробно рассказывать о развитии нашего романа – всё получилось естественно, свободно и радостно. Пока готовились и репетировались спектакли, а тем паче, в те дни, когда шли представления, Наташа приезжала к Бакуниным вместе с Дьяковыми. Одевала, причёсывала и украшала женщин, игравших различные роли в спектаклях. А тем паче, свою любимицу Машеньку. Ну, а поскольку, она целые дни проводила в доме у Бакуниных, то и в кухонный флигель приходила обедать вместе со старшими слугами. В их черёд. Там она мне и приглянулась: и грустными большими глазами, и доброй улыбкой, и всегдашней приветливостью... Но наш роман был самым обыкновенным романом двух молодых людей. Разве что мне следовало прежде, чем жениться, принять православие. Для меня это не представляло проблемы: я рос и жил среди русских православных людей. С детства, ещё в Черенчицах, присутствовал в храмах на всех крестинах, венчаниях и отпеваниях родственников и ближайших соседей хозяев, которые у них случались. Даже молитвы некоторые наизусть знал.

Я познакомил Наташу с дядей Гансом, они сразу полюбили друг друга, чему я был несказанно рад. Дядя Ганс несколько не возражал против принятия мной православия.

Мы с Наташей не долго выбирали день и имя святого, которое я должен был принять при крещении. Крестился я именем Адриан, как и желал её батюшка. Наташа, получившая когда-то на именины в подарок от Дьяковых Синодальное издание «Житий святых» прочитала мне историю этой замечательной супружеской пары, погибшей от рук гонителей ранних христиан. Честно скажу, что подробностей этого повествования я не помню, но ко всем православным святым всегда я относился со священным трепетом. Ну, а как крестился я, стали мы отмечать с Наташей именины в один день. Как ни странно, и я, и жена моя довольно быстро привыкли к моему новому имени. Общих друзей и знакомых у нас почти не было, если и забегали ко мне давние мои знакомцы, то им я объяснял вежливо, что, став православным, я сменил имя и теперь меня надобно звать не иначе как Адриан Францевич Кальб. Новые мои знакомые, с которыми я начинал общаться, другого моего имени и не знали. Только у Николая иногда срывалось с языка полудетское «Карлуша», но я делал вид, что того не замечаю. Ну, а дядя Ганс подчёркнуто величал меня только Адрианом.

Получив православное имя, я тут же отправился к Дьякову просить руки возлюбленной моей – более не у кого было. Мы с Наташей попросили его принять нас, и как только вошли в кабинет обер-прокурора, тут же упали перед ним на колени. Он чрезвычайно удивился, но, когда я твёрдым и уверенным тоном попросил его благословения на наш брак,

он просто просиял. Мы были знакомы с ним лично, я не раз, по просьбе Бакунина, приходил к нему в дом в дни больших приёмов, помогая его поварам, которым не хватало умения в кондитерском искусстве. Алексей Афанасьевич в радости поднял нас с колен, сказал, что очень рад за Наташу, и за меня, который получал от Бога такую прекрасную девушку. Наташа расплакалась, у меня тоже глаза были на мокром месте. Он благословил нас старинной иконой Пресвятой Богородицы, посетовал, что жена его нынче не в Петербурге и не может разделить с нами радость по поводу такого славного события. После того он призвал Машеньку, которая, как я уже сказывал, была особенно дружна с Наташей, и сообщил ей столь неожиданную новость. Для Машеньки новость эта была вовсе не новой: и Наташа ей много говорила по этому поводу, и Николай сообщал в тайком переданных письмах ... Но, как прекрасная актриса, сделала она на лице необыкновенное удивление и радость. Отец велел ей забрать счастливую невесту к себе, чтобы остаться со мной наедине и обговорить положенные в таких случаях формальности. Когда мы остались одни, он подробно расспросил меня о моих финансовых делах, о моих планах. Узнав, что я купил дом, где хочу открыть свою кондитерскую, он остался весьма доволен. После того он достал из глубины шкафа большую шкапулку и торжественно сообщил мне, что в ней находится Наташино приданное. Я знал, что оно немалое, но общая сумма меня просто поразила. Большая часть средств была в цен-

ных бумагах, в которых я мало что понимал, но и наличных денег было фантастически много. Дьяков сказал, что теперь эта шкатулка – моя, и что он торжественно вручит её мне в день нашего венчания. Я низко поклонился и низайше просил его до этого решающего в нашей жизни события ничего Бакунину не говорить, он понял всё правильно, и сказал, что предоставляет мне самому обсуждать свои поступки с хозяином дома.

Получив благословение от Наташиного опекуна, мы решили отложить наше венчание до осени, когда я надеялся закончить перестройку своего дома и получить свободу от Бакунинской кухни. А после заключения нашего союза мы покинем прежние наши пристанища и переедем в Наташин дом.

Тем временем привязанность Николая к Маше росла день ото дня, и, в конце концов, мой друг, часто бывавший в доме Дьяковых, решил просить руки Машеньки у её отца. И тут же получил категорический отказ.

И Маша, и Николай были ещё очень молоды, влюблены и не видели никаких препятствий для заключения своего брака. Зато обер-прокурор смотрел на жизнь достаточно трезво. Дьяков только что удачно выдал замуж одну из своих дочерей Катерину за графа Стенбока, имеющего вокруг Ревеля богатые поместья. Не так давно он принял предложение Капниста, просватавшегося к сестре Машеньки Александрине. Капнист был богатым украинским помещиком, имел боль-

шой фамильный дом на Английской набережной. Ну, а Николай Львов – кто таков? Мелкий помещик, у которого кроме маленького отцовского имения в те годы не было ничего – ни заслуг, ни денег. Отдавать за него самую любимую свою дочь не было никакого резона. Молодые настаивали, дошло до настоящего конфликта: батюшка незадачливой невесты так разгневался, что не только отказал Николаю от дома, но и запретил дочери встречаться со Львовым, где бы то ни было.

Это повеление грозного отца совершенно убило моего друга. После этого тяжёлого разговора пришёл он ко мне, как всегда, довольно поздно и взглянул на меня своими грустными влажными глазами.

– Что делать, Карлуша? Я завидую тебе! У тебя всё так счастливо сложилось... Как назначите время венчания, тут же мне сообщи.

– Ну, уж это непременно.

– Ну, скажи, посоветуй, что мне делать? Утешь меня...

– Разве тут советами и утешениями обойдёшься? Я бы не сдавался. Пережди батюшкин гнев и через какое-то время сватайся вновь.

– Ну, он опять откажет. Мне в ближайшее время богатство не светит.

– Это как бог даст. Поглядим. А пока – стихи пиши, подруге посвящённые. Очень они у тебя сердечные получаются.

– Так я и пишу. Только они не столько сердечные, сколько

плаксивые выходят. Вот слушай.

Николай откинулся на спинку кресла, прикрыл свои блестящие от бессонницы глаза и прочитал.

«Мне и воздух грудь стесняет,

Вид утех стесняет дух.

И приятных песен слух

Тяготит, не утешает.

Мне несносен целый свет -

Машеньки со мною нет...

Воздух кажется свежее,

Все милее в тех местах,

Вид живее на цветах,

Пенье птичек веселее

И приятней шум ручья

Там, где Машенька моя.

...Если б век я был с тобою,

Ничего б я не просил, -

Я бы всем везде твердил:

Щастие мое со мною!

Всех вас, всех щастливей я:

Машенька со мной моя».

Не смотря на свою печаль по поводу разлуки с любимой, конкурс на проект собора в Могилёве имел для Николая счастливое завершение. Все представленные прочи-

ми архитекторами проекты были императрицей отвергнуты. Вот тогда-то тонкий дипломат Безбородко и показал ей работу Львова. Показал, настоял, убедил – проект Николая был принят государыней. Вскоре была организована поездка в Могилёв на закладку храма, куда Николай Львов ехал в свите государыни. Он уже имел в дар от неё перстень с бриллиантами, за какие-то не столь ответственные свои архитектурные деяния, если мне не изменяет память, построил он что-то в Петергофе для наследников, а нынче сам император Иосиф подарил ему золотую табакерку, обсыпанную алмазами.

С этого первого проекта, так счастливо одобренного императрицей, карьера Николая как архитектора круто пошла в гору.

Но к сожалению, строительство храма в Могилёве затянулось необычайно: он был закончен только спустя пятнадцать лет, если не более.

Летом знатные господа Петербурга обычно разъезжаются по своим дальним имениям или ближайшим дачам, забрав с собой свою многочисленную челядь, и город заметно пустеет. Под каким-то надуманным предлогом сумел я избежать отъезда в имение с семейством Бакуниных, отправил с ним своего ближайшего товарища, которому вполне доверял, и почти всех своих кухонных тружеников. Обязанностями моими теперь было только кормить оставшихся немногочисленных слуг и наблюдать, как заполняются запасы на

зиму кладовые и погреба дома. Наташа тоже отказалась от поездки в имение Дьяковых, сославшись на многочисленные заказы от Петербургских дам, которые уже сейчас, в начале лета готовят наряды к зимним балам. В общем, мы оба были совершенно свободны и могли встречаться и обсуждать наши планы в любое удобное время. Я приезжал днём в условленное время к дому Дьяковых, Наташа встречала меня у калитки небольшого господского сада, от которой у неё был ключ. Если погода не жаловала – был сильный ветер или накрапывал дождь, мы прятались в закрытой беседке, а если было тепло, то усаживались на широкой скамейке в саду и, держась за руки, обсуждали нашу будущую жизнь. К моему удивлению и, можно сказать к счастью, у невесты моей оказался характер не слабее моего, и она давным-давно вынашивала планы, мало чем отличающиеся от моих: Наташа тоже мечтала организовать своё собственное дело, свою артель, и стать независимой в своей жизни и делах. В ту пору в Петербурге немало портных и модисток имели свои мастерские в городе, но каждый из них занимался только своим узким ремеслом: портные шили платья и мужскую одежду, а модистки украшали их лентами, кружевами, тесьмой, бахромой и даже драгоценными камнями. Изготавливали по заказу мантильи, шали, накидки, вуали. Моя Наташа умела всё – и шить платья довольно сложных фасонов, и украшать их более изысканно, чем делали это другие: ведь она великолепно вышивала золотом и серебром, плела тонкие кру-

жева, умело украшала платья драгоценными камнями так, что изделия её выглядели тонко, изящно и совсем необычно, что особенно привлекало её богатых заказчиц. Я был счастлив, что наш брак, заключённый по обоюдной любви, решал для неё и многие вопросы чисто житейского свойства – ведь она будет теперь не одинокой девушкой-сиротой, которую всякий может оскорбить и обидеть, а замужней женщиной, у которой есть любящий муж и покровитель. Она знала, что от родителей остались немалые средства. Необходимую часть этих денег Наташа собиралась потратить на организацию своей мастерской и приобретения всего необходимого для работы. Она нисколько не сомневалась в том, что заказы у неё будут постоянными. Мы вместе осмотрели её дом, который мне очень понравился. Он был просторный и крепкий, с несколькими большими комнатами, в одной из которых моя подруга и хотела организовать мастерскую, сделав в неё отдельный вход с улицы, чтобы посетителям не надо было проходить через жилые комнаты. Конечно, кое-что в доме надо будет подправить и подремонтировать, но это были совсем пустяшные дела, с которыми мы сможем справиться самостоятельно, не обращаясь за помощью к Николаю.

Лето подступило к концу совсем незаметно. Переделка дома была закончена. Теперь мне не нужна была комната для проживания, и мы сделали из неё ещё одну небольшую залу для посетителей с детьми. По моему впечатлению, работы были выполнены лучше, чем я мог ожидать. Николай то-

же остался доволен. Я его поблагодарил, рассчитался с артелью, и тут же договорился с плотниками о ремонте в Наташином доме, который теперь был и моим. Артельщики на мои условия согласились. После чего, вполне счастливый, я получил полную свободу к действию. Как только Бакунин вернулся в Петербург из какой-то деловой поездки за границу, я тут же попросил его меня принять. Низко поклонившись, я поблагодарил его за доброе ко мне отношение в течении всех лет, проведённых в его доме, но попросил нынче же меня отпустить. Он поначалу нахмурился, решив, как я полагаю, что таким образом я прошу повысить мне жалование. Но я поспешил откровенно рассказать ему обо всех своих делах и планах. Он внимательно выслушал меня, подумал и неожиданно заулыбался. Ему понравилось моё решение начать собственное дело и, вполне серьёзно, он спросил моего согласия присылать ко мне слуг за выпечкой и даже заказывать её на свои званые вечера. Я, конечно, заверил его, что как только начну работать в полную силу, тут же о том ему сообщу.

Вскоре мы с Наташей обвенчались в маленькой церкви в Гавани. Венчал нас совсем старый священник, такой же старый, как и его церковь. Он знал родителей Наташи и крестил её при рождении. На нашем венчании был только дядя Ганс, который, как иноверец, стоял в глубине храма, да Машенька с Николаем, которые были несказанно рады возможности встретиться по секрету от обер-прокурора. Таинством

они вовсе не были увлечены, а всё шептались за нашей спиной, держась за руки.

Следующий месяц прошёл для нас с молодой женой в хлопотах по устройству нашего жилища. Мы любили друг друга и очень скоро научились разговаривать без слов: мне стало достаточно взглянуть только в глаза своей жене, чтобы понять, нравится ей, то что я придумал или нет. Она точно так же понимала меня. Наташа очень спешила: у неё было несколько заказов от очень известных дам, которые необходимо было выполнить до сезона зимних балов, поэтому мы начали с устройства её мастерской. Из дома Дьяковых было доставлено всё имущество, что оставалось у неё в запасе: ткани, ленты, кружева, бахрома, целая коллекция блестящих пуговиц и ещё что-то, в чём я мало разбираюсь. Мы приобрели два больших стола для рукоделия, и два больших зеркала во весь человеческий рост. Дверь из новой мастерской на улицу вскоре была проложена и утеплена с большой тщательностью. Наташа вздохнула с облегчением – теперь она могла спокойно вернуться к работе. Она наняла несколько девушек себе в помощницы, и они дружно приступили к выполнению отложенных заказов.

Как только мы поселились в нашем доме, я тут же нанял кухарку – немолодую молчаливую чухонку, которая хорошо готовила, была очень чистоплотна и аккуратна, что для меня – немца было весьма важно. Сторожа мне рекомендовал дядя Ганс. Это был крепкий, здоровый детина средних лет,

которому я вполне доверял. Я оставлял Наташу под его надзором и в дневное время, когда она работала одна в своей мастерской, и поздними вечерами, когда задерживался по делам в своей будущей кондитерской. Всё те же артельщики обновили по моей просьбе оконные рамы, утеплили сени дома, входные двери. Дело шло к зиме, и вопрос отопления нашего дома стоял очень остро. Я решил было установить в комнатах современные голландские печи, и на место старой русской печки, занимавшей почти всё свободное пространство кухни, установить современную металлическую плиту, что было для меня весьма важно. Но я вовремя спохватился – насчёт организации правильного отопления надо было непременно посоветоваться с Николаем. Об его интересе к устройству печей я знал ещё с юности. Знал и то, что у Львова подобный интерес никогда не был праздным любопытством: он вникал во все детали и, в конце концов, становился настоящим специалистом в той области, которой заинтересовался. Николай в то время был в Петербурге и на мою просьбу помочь с устройством печей откликнулся очень быстро. Прежде всего он зашёл к Наташе в мастерскую, приветливо поздоровался с девушками и с ней и лукаво спросил.

– Ну, что, Наташенька, друг мой, довольна ли ты своим сегодняшним положением? Довольна ли мужем своим? Не обижает ли он тебя?

Наташа засмеялась, нисколько не смутившись: с Николаем они были довольно коротко знакомы.

– Что вы такое говорите, Николай Александрович! Я сейчас так счастлива, как никогда в жизни! Дел у нас с Адрианом нынче много, но это и прекрасно!

Николай согласился.

– Это ты правду сказала: когда дел много – это прекрасно. Хуже всего без дела сидеть. А скажи мне, Наташа, что тебе более всего хотелось бы приобрести для успеха твоего дела? Может быть какие-то приспособления для шитья?

– Я пока не знаю, – ответила моя жена. – Вот начну по-настоящему работать, тогда пойму, чего мне не хватает. Время покажет.

Николай задумался на минуту, потом вдруг сказал.

– Вспомнил я кое-что... Месяц тому назад был я в Париже и потребовался мне модный галстук. Зашёл я по этой своей надобности в модный магазин, и увидел там необыкновенной красоты кукол разной величины – от самых маленьких до весьма больших. А куклы эти были одеты по последней женской моде в разные платья и выглядели просто великолепно. Подивился я этому чуду, но мне даже в голову не пришло спросить, можно ли такую вещь приобрести. Вот теперь, как снова окажусь в Париже, непременно куплю для тебя такую куклу. Будешь ты первая в Петербурге, кто такую прелесть имеет.

– Что вы, что вы, Николай Александрович! Я про тех кукол давно знаю, видела давеча в новом французском журнале, который привёз по моей просьбе из Франции опекун

мой. У них имя такое необычное – «Пандора». Платья на них можно постоянно менять, показывать всем, на что ты способна в ремесле своём. Только вы даже представить не можете, какие бешенные деньги стоит эта «Пандора»!

Николай радостно засмеялся.

– Ну, Наташа, ты – прелесть! Я после Могилёвского храма нынче архитектор, что называется, нарасхват! Ты даже представить не можешь, сколько на меня заказов сразу навалилось! Знаешь ли, что я нынче богатею день ото дня! Сказал – куплю, значит будет у тебя эта красавица «Пандора». Будет тебе мой подарок для счастливого начала твоего дела!

После приступили мы к главной цели его посещения. Внимательно осмотрев все комнаты, он тут же отверг мои планы по поводу голландских печей, согласившись только с заменой русской печи на современную металлическую плиту. Николай твёрдо пообещал мне, что, как только я эту плиту поставлю, он явится ко мне со своим знакомым инженером, блестящим специалистом. Они вдвоём всё измерят и рассчитают, и сделают в моём доме совершенно новую систему отопления, которой пока нет ни в одном доме Петербурга. Он начал мне подробно объяснять, что эта система неизвестных мне воздушных трубок будет экономить нам с женой немалые деньги на дровах, поскольку других печей в доме не потребуется кроме той, что будет топиться в кухне, что воздух в комнатах всегда будет тёплым и свежим без всякого дыма... Но встретив мой недоверчивый взгляд, засмеялся и

оборвал сам себя.

– Ладно, дружище, не буду мозги блестящего кондитера забивать всякой технической ересью... Всё равно ты ничего не поймёшь. Просто представь себе, что ты вышел летом из душного театра на просторный воздух – вот такое дыхание будет у тебя в твоём доме, в котором ты нынче при натопленных печах задыхаешься от духоты и дыма. Вот увидишь, через два-три года, ну, через пять, во всех известных домах Петербурга будет только такое отопление! Верь мне – вот и всё.

Я, конечно, поверил – и не ошибся. Конечно, моё обучение новому принципу отопления и его устройство требовали определённого времени и затрат, но мой друг был прав – в нашем доме теперь всегда было тепло, какая погода ни стояла бы на улице. А воздух в комнатах был свеж и днём, и ночью. Могу добавить, что через несколько лет я сделал такое же отопление и в своей кондитерской. Все посетители были в восторге, и без конца приставали ко мне с вопросами, что и как, на которые я, конечно, ответить не мог. Всех отправлял к изобретателю Львову.

Только лет через семь-восемь Николай подарил мне весьма полновесную брошюру с собственными чертежами под названием «Русская пиростатика», где подробно описал своё изобретение. Конечно, ни в чертежах, ни в тексте я ничего не понял, но как память о друге храню эту книжицу по сей день. Она была издана немалым тиражом, но, к сожалению,

большого успеха не имела: старые привычки домоустройства преодолеваются у нас в России чрезвычайно медленно.

Поглощённый устройством своей новой жизни, я не сразу узнал, какие произошли изменения и в жизни Николая. А случилось вот что: Александр Андреевич Безбородко всё больше привязывался к моему другу, который становился ему просто необходим, как блестящий, одарённый человек во многих областях. Секретарь императрицы, проделавший стремительную карьеру по служебной лестнице, был достаточно тонким человеком, чтобы понимать, что ему не хватает знаний, осведомлённости в вопросах культуры и образования таких, которыми обладал Львов. Теперь мой друг был необходим графу не только как дипломат, но и как архитектор, и помощник по устройству дома и дачи. Безбородко не отпускал его от себя ни на шаг. Как только они оставались наедине, он одолевал Николая своими вопросами о великих художниках и скульпторах прошлого, об их созданиях и шедеврах. Львов немало к тому времени поездивший по Европе и изучивший все известные музеи и дворцы – сокровищницы сих предметов, с удовольствием посвящал его во все тонкости искусств. Он много рассказывал мне о приобретённых его патроном огромных вазах из Рима – мраморных, с барельефами, о японском, китайском и французском фарфоре... В парадном зале дворца Безбородко стояли этрусские вазы и статуи Гудона, а также знаменитый мраморный Амур работы Фальконе. Но более всего поражала Николая Льво-

ва картинная галерея их хозяина, всё более увеличившаяся в размерах. Этими сокровищами Безбородко заполнял свой дворец бесконечно, вплоть до конца своей жизни. И всегда главным советчиком, и консультантом его был мой друг. Руководитель и подчинённый настолько сблизились, что Николаю было предложено переехать в роскошный дворец своего начальника, в такие «особые покои», о которых он и мечтать не мог. А поскольку Львову надлежало бывать по делам в течении дня в разных частях города, то в его распоряжение была предоставлена удобная карета. Отказываться от таких предложений было просто грешно, и мой друг переехал к своему патрону. Но при самых доброжелательных и даже приятельских отношениях они никак не могли быть близкими людьми: Николай имел характер строгий и аскетический, хотя и веселый. Образ жизни графа, легкомысленный и бурный, конечно, не мог быть ему по душе, хоть Безбородко умел великолепно сочетать сложнейшую работу по дипломатической части с удивительной ветреностью. За свои «особые покои» Николай ничего Безбородко не платил, но был всегда дисциплинирован, исполнителен и обязателен в их общих делах, и никогда Александра Андреевича не подводил даже в мелочах.

Тем временем моя будущая кондитерская всё больше приобретала тот вид, о котором я мечтал. Прежде всего я повесил над входом большую вывеску «Кондитерская Кальба». Пусть люди привыкают, скоро-скоро я начну радовать их

своими изделиями. Внутри уже был оборудован прилавок, мебельщики привезли три первых лёгких, но практичных стола и, в таком же стиле, по четыре стула к каждому из них. В моём крохотном кабинете уже стояла удобная конторка и два табурета к ней.

Я часто задерживался допоздна в кондитерской, хоть и пусто было ещё в ней, но всегда находились какие-то дела. Так произошло и в тот вечер, о котором я должен вам непременно рассказать, мой читатель. Я предупредил Наташу, чтобы она укладывалась спать без меня: мне давно следовало составить список инвентаря для кухни, который надо приобрести в первую очередь, и посчитать, сколько это будет стоить. Но по рассеянности, увлекшись своими мыслями, я забыл запереть дверь на улицу. Усевшись за конторку и зажёгши одну свечу – свечи стоили для меня в то время очень дорого, их приходилось экономить, я углубился в расчёты. И вот, что у меня получилось. Кроме расходов на обустройство самой кондитерской необходимо было нанять помощников: искусного повара, способного научиться у меня тонкостям кондитерского ремесла, расторопную женщину, которая не только бы наводила порядок в моём заведении после того, как оно закрывалось, но и днём, по мере необходимости, мыла бы посуду и помогала в разных кухонных делах. Нужен был и хороший истопник, который занимался бы печами и в кондитерской, и в нашем доме, поскольку находятся они в непосредственной близости... И сторож здесь в ноч-

ное время тоже был нужен. Всё подсчитав, я вздохнул, поняв, что, к сожалению, без финансовой помощи дяди Ганса мне не обойтись. И тут я вдруг услышал, что к моей кондитерской подъехала карета. Была уже глухая ночь – я удивился позднему гостю. Послышались сердитые мужские голоса, какая-то возня на пороге, немало испугавшие меня, потому что я вдруг вспомнил о незапертой входной двери. Впрочем, я почти сразу узнал голос Николая, которого очень давно не видел, и немного успокоился. Взяв в руки свечу и прихватив на всякий случай тяжёлую кочергу, я вышел в зал. Дверь с грохотом распахнулась, на пороге я увидел своего друга, который крепко держал за шиворот какого-то низкорослого мужичонка, громко шмыгавшего носом и жалобно подвывавшего.

– Привет, полуночник! – С какой-то полунасмешливой интонацией произнёс мой друг. – Держи вора!

– Вора?! – Поразился я. – Да тут пока что и красть нечего...

– Это ты так считаешь, а вот он думал по-другому.

Мужичок в руках Николая дёрнулся безуспешно, пытаясь вырваться.

– Стой, стой! Ты нам прежде расскажи, что ты хотел здесь своровать?

Мужичок всхлипнул и завыл. Только тут я понял, что Николай держал за шиворот мальчишку лет двенадцати.

– Да объясни ты мне толком, что случилось?

– Изволь. Еду я в крошечной тьме по вашей Кадетской линии. Проезжаю мимо твоей кондитерской и вижу в окошке одинокий свет от свечи. Я, конечно, догадался, что это ты полуночищаешь, своими хозяйственными делами занимаешься, и велел кучеру свернуть с дороги. Подъехали. Выхожу из кареты и вижу, что на мансарде к окошку прилипло вот это чудо. Как он туда залез – мне не ведомо, но слезть никак не мог: высоко и боязно. Встал я внизу и велел прыгать. Он не то чтобы спрыгнул, но свалился со страху прямо мне на руки.

Я с недоумением смотрел на мальчишку.

– Так что ты здесь искал, скажи на милость?

– Я есть хотел...

– Есть?! Сейчас тут кроме мебели есть нечего. С чего ты взял, что тут есть еда?

– Так на дверях написано: «Кондитерская»... Я думал, что тут какая-никакая еда на ночь осталась...

– Так ты умеешь читать? – Удивился Николай.

– Умею. В монастыре дьяки научили.

– В каком монастыре?

– В Торжковском Борисоглебском...

– Так ты из Торжка?! – Разом удивились мы.

– Да отпусти ты его, Николай!

– Ну вот... А теперь поведай, как тебя родители одного в Петербург отпустили? Ты не из крепостных ли будешь?

Освободившись от крепкой руки моего друга, мальчиш-

ка тряхнул головой и выпрямился. Поняв, что ему никакая расправа не грозит, стал отвечать более внятно.

– Не... Мой батя в монастыре кузнецом был, а матушка бельё монахам стирала. В кузне мы и жили. Да пожар прошлой зимой в кузне случился, я успел на улицу выскочить. А родители сгорели. Монахи меня при себе оставили, пожалели... Только мне с ними скучно было, и всегда голодный. В пост вообще одни сухари на обед. Вот я и сбежал... На почтовую станцию пошёл, в первой же почтовой карете, что на Петербург отправлялась, под всякими пакетами и узлами схоронился. Так здесь и оказался. Только есть-то всё равно нечего – что в монастыре, что в Петербурге...

История получалась весьма занимательная. Думал я недолго.

– Знаешь ли, Николай... Идти мальчишке всё равно некуда. Пусть он до утра здесь останется. Пару пирожков я с собой прихватил, чтобы при своих математических расчётах ноги от голода не протянуть, отдам тебе, парень, своё пропитание – цени, брат! На плите чай ещё не успел остыть, кружку на полке найдёшь. Пол возле печки тёплый, прямо на пол и ложись, не помрёшь, я чай, на жёстком полу. А утром мы с тобой подробно поговорим обо всём.

Я отвёл мальчишку на кухню, отдал ему свои пирожки, показал, где лучше устроиться на ночь. Свеча моя догорела, и я зажёл сразу две, чтобы лучше разглядеть своего друга. Вернувшись к нему, только тут я заметил, что был он как-

то особенно возбуждён, что лицо его светится каким-то особенным таинственным светом.

– И каким это ветром тебя занесло ночью на Кадетскую линию? Что-то случилось?

– О, Карлуша... Что случилось?! Знаешь ли, ведь часу не прошло, как я женился!

Я вытаращил на него глаза, не в силах задать ни одного вопроса. Впрочем, оно и не было нужно.

– Милый мой Карл Францевич! Ой, прости, дорогой, никак не могу привыкнуть к твоему новому имени – Адриан Францевич! Мы с Машенькой только что тайно повенчались!

И, не дожидаясь моих расспросов, он поведал мне столь неожиданную, потрясающую историю своей женитьбы. Рассказал, что всё придумал его первый друг и теперь будущий родственник Василий Капнист. Он, якобы повёз Машеньку и свою наречённую невесту Александрин на бал, а сам вместе того помчался с ними в своей карете в Гавань, в ту самую старушку-церковь, в которой венчались мы с Наташей. Николай ждал их там, обо всём договорившись всё с тем же древним священником. Венчание прошло быстро, Капнист повёз сестёр на бал, где в нетерпении их ожидал ничего не подозревающий обер-прокурор, а Николай, которому не с кем было даже поделиться своей радостью, возвращался по Кадетской линии во дворец Безбородко.

– Ты даже представить не можешь, чем Василий ради ме-

ня рисковал! Не дай Бог, узнает его будущий тесть, какую роль он сыграл в моей тайной женитьбе!

– Да как ему узнать-то?!

Я крепко обнял его и поздравил.

– Всё прекрасно! Конечно, я обещаю тебе, что эта тайна останется меж нами до тех пор, пока ты сам её не откроешь для всех. Но как ты думаешь поступать дальше?

– Очень просто! – В запальчивости воскликнул мой друг. – Буду свататься! Снова откажет – подожду месяц – и опять посватаюсь. Надоест же батюшке отказывать мне безо всякой причины. Я богатею, друг мой Адриан, богатею и известность всё большую приобретаю. Сдастся он когда-нибудь, никуда не денется! А пока что я должен найти время и, не мешкая, ехать в Никольское.

– В Никольское?

– Да, мой друг! Наши любимые Черенчицы теперь будут зваться Никольским... Матушка нисколько не возражала. Задумал я построить там новый дом, просто мечтаю о нём! В голове всё вертится то один вариант, то другой. Я хочу его сделать таким... таким...

– Фантастическим?

– Нет – удобным. Чтобы всё было рядом, всё под рукой – и дрова, и вода, да мало ли что нужно для жизни! И за обустройство усадьбы пора приниматься. Сейчас мне надобно всё на месте посмотреть, просчитать, промерить. Если Безбородко в ближайшие дни отпустит – тотчас же поеду. Я те-

перь женатый человек и должен о своём семействе наперёд беспокоиться. А тебя вот чем обрадую: дядюшка мой Юрий Фёдорович нынче в Конторе строений за освещение улиц будет отвечать, руководить расстановкой фонарей. Его дом-то из твоего окна видать. Я попрошу его, чтобы один из фонарей на вашей Кадетской линии он поставил так, чтобы тот и подъезд к его дому освещал, и тебе от него тоже по ночам светло было...

Николай взял свечу со стола и повертел в руках, играя светом.

– Знаешь ли, друг мой... Я ведь люстру спроектировал с фитильными светильниками и резервуаром для масла. Нижняя часть сей люстры будет в виде полушария – он очертил в воздухе полукруг, – вот этакое, чтобы масло не капало вниз... А сверху будет стеклянный зонтик, чтобы потолок комнаты не коптился...

Я недоверчиво воззрился на друга.

– Как только сделаю пару образцов для примера, один непременно тебе подарю. Хочешь домой отнеси, хочешь – на конторке своей поставь. А как наладится производство сих изделий, во всех домах эти люстры будут использоваться. И дешевле это свечей будет, и удобнее, и светлее намного.

На утро я долго беседовал с парнишкой, неожиданно оказавшемся в моей кондитерской. Так и не сумел он мне объяснить, что хотел найти в Петербурге. Когда у меня появились собственные дети, понял я, что в его возрасте все они так

поступают – импульсивно, вопреки всякой логике и смыслу. Но сразу скажу – повезло не только Никитке, так звали мальчишку, но и мне. Оставил я его у себя по взаимному согласию. Кухонный мальчик мне всё равно был нужен – и воды наносить, и дров заготовить, и в погреб сбегать, и муки из кладовой принести... Поселил я его в мансарде, в комнатухе крохотной, но очень тёплой: через неё проходила труба от печки, которая топилась целый день. Был у него хороший соломенный тюфяк, ватная подушка, а также старенькие простынь и полотенце, которые, по моему указанию, кухарка меняла ему каждую неделю. Насколько я понимаю, мальчишке очень нравилось у нас, и вскоре он стал нам просто необходим: гоняли его с утра до вечера не только повар Пётр и кухарка, но даже я – ваш покорный слуга. Пётр для нас всех, работников кондитерской, готовил сытные и вкусные обеды, при этом сам учился у меня искусной выпечке, а Никитка слушал мои объяснения и, как говорится, "на ус мотал». Только через несколько лет понял я, что вместо одного надёжного помощника заимел я двоих, которые своим искусством мне на пятки наступали.

Но с женитьбой Николая всё вышло не так радостно, как ему мечталось – тайный брак затянулся на три мучительных года. Не ведая правды, к Машеньке сватались женихи из влиятельных домов, отказывала она всем бесповоротно. А годы шли. По нашим меркам Машенька была уже немолода. А

Львов при наших редких встречах сетовал мне.

– Сколько труда и огорчений скрывать от людей под видом дружества и содержать в предосудительной тайне такую связь...

С начал восьмидесятых годов Львов был занят безмерно. Я было совсем потерял его из виду. Мелькнул он перед нами с женой очами только однажды, когда привёз из Парижа обещанный Наташе подарок – знаменитую «Пандору». Была она средних размеров и понравилась Наташе чрезвычайно.

– Господи, – всплеснула она руками. – Какая прелестная кукла! И как вы, Николай Александрович, её рост угадали – самый подходящий рост. Большая мне вообще ни к чему, а маленькую одевать неудобно. А эта!.. На ней можно всё своё умение в шитье показать! Как я вам благодарна – слов нет!

– Так это ещё не всё, моя красавица! – Засмеялся Николай. – Вот тебе целый альбом моих рисунков для шитья и вышивания. Будет и помощницам твоим настоящая художественная работа. Надо приучать наших дам одеваться красиво и со вкусом.

Он протянул Наташе толстый альбом, заполненный потрясающими рисунками. Наташа только открыла его – и просто онемела.

– Николай Александрович, ведь эта тетрадь больших денег стоит! Как мне отблагодарить вас?! – Почти прошептала она.

– Да очень просто! – Засмеялся наш друг. – Будешь мою жену обшивать и украшать её платья вышивками по моим рисункам. Будет у нас с тобой своя артель...

В ту встречу и рассказал нам Николай о своих ближайших планах. Дело в том, что Безбородко убедил императрицу в необходимости создания отдельного Почтового департамента. Видимо, государыня и сама понимала, что почтовая служба требует особого внимания и срочного переустройства. А кто мог это сделать лучше самого Безбородко? Он тут же был назначен руководителем сего нового департамента, а Николай Львов – его правой рукой и, как официально именовалась его новая должность, «главным присутствующим в Почтовых дел правлении», оставаясь при том советником посольства.

И тут же встал вопрос об устройстве большого удобного здания для нового департамента. И, по ходатайству того же Безбородко, императрица поручила создание проекта нынешнего Почтамта Николаю Львову.

Как ни благоденствовал Николай во дворце Безбородко, который расчётливый и предприимчивый дипломат построил прямо по соседству со своим будущим департаментом, как ни удобно и вольготно было Львову в своих «особых покоях», всё-таки, как все смертные, мечтал он о собственной квартире. Пусть даже и казённой. Новый проект Почтового департамента, который он должен был предоставить на суд императрицы, предоставлял для того ему полную возмож-

ность. Несколько просторных квартир для почтовых чиновников запланировал Николай в бельэтаже. Одна из них была самой лучшей, самой удобной, конечно, он мечтал когда-то поселиться именно в ней.

Как я уже сказывал, в последующие годы он был очень занят. Чем только Львов тогда ни занимался, что только ни волновало его! Со всей своей бешеной, иначе не скажешь, энергией возводил он по всей России настоящие дворцы в родовых господских усадьбах, да что там дворцы – целые архитектурные ансамбли с парками, беседками, садами, фонтанами, прудами, каскадами и затейливыми мостиками. Насколько я помню, за эти свои достижения в 1785 году избран он был почётным членом Академии художеств. Чуть ли не в том же году открыл Львов залежи каменного угля на Валдае. Между делом изобрёл Николай какие-то строительные лаки, толь и «каменный картон», как он его именовал. Только через Наташу, которая не теряла связь с домом Дьяковых и по-прежнему была наперсницей Машеньки, узнал я, что, наконец, обер-прокурор дал согласие на брак своей дочери с Николаем. Свадьбу было решено сыграть в Ревеле у мужа старшей дочери Катеньки графа Стенбока. Ситуация была непростой. Собралось множество знатных гостей, было подготовлено роскошное празднество, но когда подошло время венчания, молодые открылись всем присутствующим, что они уже более трёх лет женаты... Можно представить растерянность родителей и гостей. Но вышли из положения:

срочно выдали замуж горничную, которой до того было в замужестве отказано. И пир был проведён на славу. После чего, задержавшись ненадолго в гостях (но даже тогда Николай зря время не терял – обследовал и изучил все старые замки и крепости в окрестностях Ревеля), молодые и счастливые Львовы тут же уехали в Никольское – Черенчицы. Пробыв там достаточно долгое время, вернулись они опять во дворец Безбородко, который принял их, как всегда, радушно и приветливо.

Сия романтическая история много лет не исчезала из сплетен в гостиных богатых домов. У многих она в памяти и сейчас.

Конечно, и я был занят своими делами, что называется, по горло. Успешно начала работать моя кондитерская. Внешнее её убранство день ото дня становилось всё привлекательнее. Девушки Наташиной артели для чайных столов вышили прекрасные скатерти и украсили их по краям плотными кружевами. Я специально съездил в Москву на самоварную фабрику купца Петра Силина, чтобы приобрести там только что появившиеся на свет настоящие русские самовары. Мне подробно рассказывал о них Николай, внимательно изучивший их устройство в доме Безбородко. В то время в Петербурге они были в редких знатных домах и только начинали завоевывать своё жизненное пространство. Самовары Силина поразили меня, что называется, в самое сердце: были они укра-

шены чеканкой, представляющей из себя этакий замысловатый цветочный или геометрический орнамент, на некоторых из них имелись накладные листья. Я заказал самовары с двумя носиками, чтобы ими можно было пользоваться двум собеседникам, не поднимаясь с места. Эту конструкцию я придумал сам, пока добирался из Петербурга до Москвы. Сам Пётр Силин похвалил меня за фантазию, и сказал, что непременно будет изготавливать среди прочих и такие самовары. Мы даже придумали с ним название для подобного изделия: самовар «tete a tete». Ещё купил я у него и самовары-кофейни, (кофий в моей кондитерской пользовался большим спросом), а к ним из того же сплава сахарницы, сливочки, и кое-что из медной посуды. Когда, наконец, в моей кондитерской на каждом столе были водружены этикие прекрасные самовары, понял, что мои мечты, наконец-то приобретают вполне реальные очертания.

Но, любезные мои читатели, только не подумайте, что мой путь на кондитерский Олимп был совершенно безоблачным и благодным. Особенно в первые годы моей самостоятельной деятельности испытал я столько невзгод, что перечислять их надо было бы бесконечно долго. Прежде всего прилипли ко мне воры, кружились они вокруг моей кондитерской днём и ночью. Слава богу, мой неизменный сторож Влас – огромный мужик недюжинной силы, ловил их не только в момент совершения кражи, но даже предчувствуя её заранее. Увидит, что ходит вокруг кондитерской некая личность,

что-то высматривает, выглядывает, примеривается к окнам – тут же его за шиворот прихватит. Скажет пару слов кое-каких, и того человека более мы никогда не видели. Несколько воришек он во время попытки кражи изловил. Один из них всю ночь под замком в нашем амбаре просидел, а после Влас сам его в полицию оттащил и сдал в руки квартальному надзирателю. Другой перед ним на колени упал, прощения просил и клятву давал, что не только сам воровать у нас ничего не будет, но и другим велит на Кадетской линии не появляться. Но однажды напали на Власа настоящие грабители – оглушили сзади, связали, заткнули рот грязной тряпкой – и обнесли нашу кондитерскую начисто. Украли всё, что можно было унести – медную посуду, сахарницы, сливочники... Но бес их попутал – прихватили они и мой знаменитый самовар с двумя носиками. Вот это их и выдало. Самоваров в Петербурге было – на пальцах сосчитать, а этакой необычный был в те годы только в моей кондитерской, о чём всему Василевскому острову было известно. Я, конечно, в полицию о грабеже заявил, и бандитов тех очень скоро поймали именно из-за этого самовара, который они, конечно, продать никому не смогли – понимали люди, что краденный, и отказывались покупать.

И пожар у меня в кондитерской случился по недосмотру истопника. Слава Богу, Влас вовремя дым в окошке заметил, потушил. А ещё меня по неопытности поставщики обманывали, как могли. Один из них мне десять мешков муки при-

вѣз, заражѣнной червями. После доказывал, что она у меня самого в амбаре заразилась. Судились мы с ним долго, еле-еле сумел я вернуть тогда только малую часть своих денег.

У Наташи моей тоже случались серьёзные неприятности, не без того. Однажды её помощница по неопытности испортила уже готовое платье, загубила так, что исправить было невозможно. Женские платья всегда стоили немалых денег. А это было особенно дорогим, Наташа очень за него волновалась, пока его шила, а тут такое несчастье! Скандал был страшный. Заказчица визжала от возмущения целый час – ну, так что же – она была права... А потом муж её приехал – ещё тяжелее было объясняться. Девушка та, виноватая, в ногах у Наташи валялась, прощения просила. Была она сиротой, бедна, как церковная мышь. Жила только на средства, которые ей Наташа за работу платила – долг за это платье ей отдавать было нечем. Да разве в прощении дело! Махнула моя жена на неё рукой и выгонять не стала, только поставила её в наказание на всякие мелкие работы вроде пришивания пуговиц и крючков... Пришлось Наташе шить заново это дорожущее платье за свои кровные. Одни редкие заграничные ткани стоили бешенных денег. От первого шва до последнего платье то она из рук не выпускала, ночами не спала, боялась, что опять с ним что-то случится. Потихоньку загладили тот скандал. Хуже всего было то, что эта история произошла одновременно с грабежом в кондитерской, когда у меня даже посуды не осталось для приёма посети-

телей, и пришлось торговать только навынос. Однажды, когда мы особенно приуныли после всех этих неприятностей, приехал Николай, совсем ненадолго оказавшийся в Петербурге. Выражаясь образно, слёз наших он не вытирал и даже несколько не утешал. Дал несколько практических советов, оставил нам в долг на неопределённый срок достаточно большую сумму денег, и, уже в дверях, произнёс на прощанье.

– Счастья тот лишь знает цену, кто трудом его купил.

Сделали мы эти его слова своим семейным девизом, и, когда особенно трудно бывало, всегда его друг другу напоминали.

– Счастья тот лишь знает цену, кто трудом его купил.

Я упорно продолжал трудиться, и жена меня поддерживала во всём. Мне всегда хотелось придумать что-нибудь особенное из своей выпечки, совсем необычное, что могло бы заинтересовать моих посетителей, которых с каждым днём становилось всё больше. Первые годы своего поприща я делал упор на немецкую кухню, поскольку, как я вам, любезные читатели сказывал, в те годы немцев на Васильевском острове проживало и трудилось много. Мой баумкухен расхватывали тут же по мере приготовления. Приходили за ним и посыльные от разных мастеровых, и лакеи из домов знатных господ, а в дом Соймоновых я сам часто его отправлял, помня, что Юрий Фёдорович был большой любитель сего изделия. Скоро в Петербурге появились поваренные книги на

немецком языке, и не премину с гордостью сообщить, что первым переводчиком этого издания на русский язык был именно я. Но постепенно стал я переключаться и на русскую кухню. Кое-что взял из французской и даже итальянской. Мы с моим помощником, молодым, но очень способным поваром Петром, стали выпекать пирожки и расстегаи по дням недели: каждый день недели по четыре особых сорта, каждому из которых давали шуточный девиз – «Что за прелесть», «На здоровье», ну, и всякие другие пустяки. О всяких сладостях, что говорить: тут уж я давал волю своему воображению и мастерству. Я быстро научился готовить марципаны и прекрасный шоколад, из которого делал для детей разные смешные фигурки купидонов, рыцарей, зверей и птиц и даже портреты разных знаменитостей. Изготавливал причудливые корзины из фруктов и цветов. Над приготовлением особых сортов мороженого пришлось изрядно потрудиться, но успех превзошёл самые смелые мои ожидания. Зимой для хранения сего нежного продукта был у меня прекрасный ледник, а летом использовал я несколько больших специальных ящиков со льдом, прозванных в народе почему-то «печкой». Мороженное в нём могло сохраняться целый сутки. Не миновало и двух лет, как я смог вернуть долг дяде Гансу. Теперь моя совесть была абсолютно чиста. Посетителей у меня становилось всё больше и больше. После утренней прогулки заходили ко мне гувернантки с детишками, сразу шумно становилось в зале и весело. Днём меня посещали разные куп-

цы, и фельдъегеря, ну, а вечером публика была особенной...

Львов, несмотря на свою занятость, не прекращал свои литературные занятия и тесно дружил со всеми своими прежними товарищами. Состав кружка не был постоянным: к прежним известным персонажам присоединялись новые лица, в последствии ставшие в России известными литераторами. С тех пор, как поселился Николай у Безбородки, литературное общество переместилось в дом Державина. Но Гаврила Романыч вскоре был назначен губернатором Тамбова и уехал из Петербурга, и так уж случилось, что однажды осенью Николай Львов привёз в мою кондитерскую всё это прекрасное собрание. Было совсем поздно, мы уже хотели закрываться, как вдруг к крыльцу подкатило сразу несколько экипажей. И я услышал голос своего друга. Эта жизнерадостная компания мгновенно заполнила зал. Слуги мои закрутились, закипели самовары, на сдвинутые столы было выставлено всё наше оставшееся после дня кондитерское богатство. И началась долгая, шумная беседа. Кто-то из пришедших был мне знаком ещё с молодости. Кого-то я видел впервые, и Николай на ходу знакомил меня со своими новыми друзьями. В то время жил он во дворце Безбородко в своих «особых покоях» в одиночестве: Мария Алексеевна с маленькими детьми оставалась в Черенчицах-Никольском до зимы. Выглядел он неважно – сильно похудел и осунулся: на Валдае при добыче угля (о том будет в моих записках особенный рассказ) он сильно переболел, много работал

физически и плохо питался, поскольку провизией его экспедицию никто не обеспечивал, но глаза его горели прежним огнём. Он был по-прежнему главным в этом собрании литераторов, это было видно сразу. К нему обращались за советом, его мнение было решающим... Я, конечно, отвлекался, чтобы дать нужные распоряжения своим людям, но теперь моя роль была совсем иной, чем в годы нашей молодости. Теперь я был хозяином заведения и принимал петербургское литературное общество как своих гостей. Я сидел за чаем в зале вместе со всеми, помалкивал, конечно, только слушал, впитывая в себя как губка новые знания о литературе. Я хорошо помню, что в тот первый вечер, было шумное обсуждение новой «Оды» Василия Капниста под названием «Ода на истребление в России звания раба Екатериною второю». Кое-что в этой истории я понимал. Николай ещё несколько лет тому назад рассказывал мне, что Капнист со всей горячностью молодого негодования против окончательного закабаления украинских крестьян написал «Оду на рабство», которая получила достаточно негативную оценку при дворе, что грозило Капнисту большими неприятностями. Надо было как-то замять эту историю, и, когда совсем недавно государыней был издан Указ, повелевающий называть себя в челобитных «верноподданным» вместо ранее бывшего «раба», Василию Капнисту представилась такая возможность, и он написал новую «Оду», которая нынче так бурно обсуждалась его друзьями. Сам Василий уже несколько лет как оста-

вил свою службу в Почтовом управлении, уехал в своё имение в Малороссию, где только что избрался предводителем Киевского наместничества. Добавлю только, что по рассказам Николая, он послал только что изданное сие произведение Екатерине с надписью на обложке «Освободительнице России». Я, конечно, не преминул при очередном приезде Василия в Петербург обратиться к нему с нижайшей просьбой подарить и мне, простому читателю, эту книгу, и вскоре получил её в подарок. Она долгие годы бережно хранится в книжном шкафу моего большого кабинета. Я хорошо помню некоторые строки из неё. Например, вот эти.

«Россия! Ты свободна ныне!
Ликуй: вовек в Екатерине
Ты благодать Бога зреть должна:
Она тебе вновь жизнь дарует
И счастье с вольностью связует
На все грядущи времена...»

Хорошо помнится мне ещё одна встреча литераторов в моём заведении. В тот вечер главным человеком был Иван Хемницер. Он был намного старше нас с Николаем, но, едва познакомившись, Львов и Иван Иванович крепко привязались друг к другу. Хемницер был человеком весьма добродушным, очень искренним и доверчивым. При этом имел он огромный рост, и был страшно неуклюж. К тому же он был

ужасно рассеянным, чем давал поводы для многочисленных анекдотов. Рассказывали, что во время обеда он частенько вместо платка засовывал в карман салфетку, мог, услышав утром некую новость, днем рассказать о ней тому лицу, от которого её узнал. Приятели любили потешаться над ним, по Хемницер никогда не сердился – он был незлобив, отходчив и сам не раз смеялся над собой. С Николаем они подружились прежде всего по взаимной любви к литературе. Иван Иванович был страстным любителем поэзии, но более всего обожал басни, и сам весьма преуспел в этом. Они оба словно соревновались в этом колком, язвительном юморе. Но так уж случилось, что в то время потерял Хемницер прежнее место службы и остался совершенно без средств существования. Стараниями Львова был он назначен консулом в Турцию, в город Смирну. Это был его прощальный вечер в кругу литераторов. Помню, как кто-то из друзей воскликнул:

– Подумал ли ты хорошенько, что ты сделал? Да ты без друзей там с ума сойдешь!

В ответ Иван только грустно улыбнулся.

– Я эпитафию нынче ночью написал...

– Эпитафию? Кому?

– Себе самому...

И с той же грустной улыбкой, прочитал:

– Не мни, прохожий, ты читать: «Сей человек Богат и знатен прожил век»!

Нет, этого со мной, прохожий, не бывало,
А всё то от меня далёко убегало,
Затем, что сам того иметь я не желал
И подлости всегда и знатных убегал...

Иван Иванович уехал. Львов не забывал его, писал ему часто и много, иногда при встречах пересказывал мне его тоскливые ответные письма. Хемницер писал, что в Константинополе и в Смирне грязь, нечистоты, смрад, дохлые собаки и кошки на улицах, родовая месть среди населения, а у него – отсутствие денег. Ну, а письма от друзей, особенно от Николая, – единственный для него праздник.

Но непривычный для северянина климат, условия жизни, отсутствие близких людей сломали всеобщего добродушно-го любимца. Он умер весной 1784 и похоронен в Смирне на лютеранском кладбище.

Друзья скорбели о нём и никогда не забывали. Его прекрасные переводы Лафонтена, собственные остроумные и необычные басни, в которых никогда мораль не давалась, что называется, в лоб, а вытекала из самого смысла, достаточно часто появлялись в различных изданиях, а цитатами из них пестрели многие газеты. Львов и Капнист в память о друге издали все известные его басни. Экземпляр этой книги бережно хранится в моей библиотеке. Иногда я цитирую басни Ивана Хемницера в качестве назидания своим детям. Особенно часто вот эти строки:

«...Да полно, и в житействе тож
О людях многие по виду заключают:
Кто наряжён богато и пригож,
Того и умным почитают»...

Очень скоро вся Петербургская литературная братия стала завсегдатаем моего заведения. Часто приезжали на нескольких экипажах весёлой толпой, приходили группами или вдвоём, мелькали старые знакомые и новые лица... Теперь я хорошо понимаю, как много мне дали эти литературные посиделки: они пробудили во мне страсть к чтению, интерес к книжным новинкам, любовь к поэзии. Всё это я постарался передать и своим детям. Когда Николай, наконец, поселился в своей долгожданной квартире во вновь открытом Почтамте, собрания кружка стали проходить у него в доме, но привязанность литераторов к моей кондитерской несколько не иссякала.

Тем временем и я, и Наташа трудились на своём поприще по мере сил и умения. Дела у моей любимой жены шли на лад. Вместе со своими помощницами работали они с утра до позднего вечера. Частенько к ней заходили дамы только за тем, чтобы лицезреть красавицу «Пандору». Придут бывало, покрутятся в мастерской, поглазеют, потрогают платье на этой кукле – и непременно что-нибудь из её новомодно-

го наряда закажут. Ну, а после, вполне довольные собой, по совету Наташи, конечно, и мою кондитерскую осчастливят своим присутствием. Не только часок за кофеем или чаем со сладостями проведут, но и домой заказ выпечки сделают...

И вот наступил тот час, когда жена моя со всей серьёзностью сообщила мне, что ждёт ребёнка. Конечно, мы оба этой новости очень ждали. И были готовы к ней, но в тот момент я просто онемел то ли от счастья, то ли от внезапной ответственности. Теперь я отвечал не только за свою жену, но и за нашего малыша. Наташа посмеивалась, успокаивая меня, но видно было, что она взволнована не менее, чем я. Мы долго обсуждали, как нужно будет построить её жизнь во время беременности. Решили, что на ранних сроках всё будет идти по-прежнему, она будет работать наравне со своими девушками. А как станет ей этот труд сложен, возьмёт ещё одну помощницу, а сама будет только руководить работой, придумывать фасоны платьев, и принимать заказы от дам. Чувствовала себя Наташа совсем неплохо, конечно, не обходилось и без случаев внезапной дурноты или головокружения, но мы считали это естественным. Я в подробностях расспрашивал молодых отцов из числа своих многочисленных знакомых, как у их жён протекала беременность, как проходили роды, как чувствуют себя сегодня их новорожденные. Кое-что меня настораживало, что-то радовало. Но постепенно мы с женой привыкали к новым обстоятельствам своей семейной жизни. Время шло, и меня, и Наташу вдруг стал беспо-

коить её непомерно увеличившийся живот.

А надо вам сказать, любезные читатели, что моя кондитерская к тому времени уже была известна за пределами Васильевского острова, и посетителями её всё чаще становились люди, проживавшие в самом центре Петербурга, которые оказывались на Кадетской линии по служебным делам или по родственным связям. Так однажды зашёл случайно ко мне и некий известный в Петербурге доктор, как оказалось, один из самых лучших специалистов по «бабьему делу», как называлась тогда повивальное дело в России, позже получившее французское наименование «акушерство». Доктор этот имел попечение об одной знатной даме, жившей от моего заведения по соседству, и после очередного визита к ней зашёл в известную в городе кондитерскую, о которой, как выяснилось позже, слышал немало лестных слов, удовлетворить своё любопытство и выпить кофе с какой-нибудь экзотической выпечкой. Я, конечно, не знал, кто он таков, но внешне мне очень понравился подтянутый, великолепно одетый господин с прекрасными манерами и приветливой улыбкой. Он с удовольствием закусил моими пирожками, после чего я сам подал ему что-то из своих вновь придуманных изделий, которые имели самые благоприятные отзывы посетителей. Мне было почему-то приятно сознавать, что я доставляю этим ему удовольствие. Гость мой учтиво поблагодарил и, узнав, что именно я владелец сего заведения, поднялся из-за стола и представился. Я онемел, услышав его фамилию.

Конечно, всего полгода назад мне и в голову не приходило интересоваться специалистами повивального дела, но сейчас подобное знакомство было весьма кстати. Передо мной стоял никто иной как Нестор Максимович Амбодик-Максимович, первый русский профессор-акушер. Среди женщин, только что родивших или ожидающих появления малыша, фигура эта была самой популярной. Кто только не мечтал попасть по его опеку! Дамам казалось, что одна его фамилия даёт полную гарантию благополучных родов и здоровья ребёнка. Да что там дамам! Среди беспокойных мужчин, ожидающих скорого появления наследников, только и было разговоров о таланте этого доктора. Я поклонился и тоже назвал себя и пригласил доктора заходить в мою кондитерскую запросто при любой okazji. Потом я приказал Петру собрать доктору подарочную корзинку с разными сладостями, и, когда он собрался уезжать, я проводил его до дверей. Конечно, в первый день нашего знакомства у меня язык не повернулся задавать ему какие-то личные вопросы. Я очень надеялся, что Нестор Максимович станет моим постоянным посетителем. Так оно и случилось. Он приходил в разное время, то утром, то к вечеру. Дама, которую он пользовал в доме по соседству, вот-вот должна была родить, и его попутные визиты в мою кондитерскую, стали довольно частыми. Не знаю почему, но личность моя показалась ему занимательной. Он часто просил меня освободиться ненадолго от дел и присесть с ним за стол. Я это делал с превеликим удовольствием, не теряя

надежды, что, в конце концов, осмелюсь поговорить с ним и о своих личных проблемах. Нестор Максимович подробно расспрашивал меня о том, как я – немец, оказался в Петербурге, как сумел получить столь значительную финансовую самостоятельность... Я совершенно искренне ему отвечал. В ответ он тоже рассказал мне немного о себе, о своём обучении повивальному искусству в Страсбурге рассказывал с таким юмором, что я не мог удержаться от улыбки. Однажды он пришёл совсем рано, мы только что отперли входную дверь. С удовольствием позавтракав свежей выпечкой, он сказал мне.

– Я нынче попрощаюсь с Вами, господин Кальб. Дама, о которой я имел попечение, родила нынче ночью прелестную девочку. Моя забота ей более не нужна, в доме довольно всяких помощников. И на Васильевском острове у меня теперь никаких дел нет. Так что спасибо Вам за приём и необычайно вкусные Ваши изделия, всем знакомым буду рассказывать о Вашем заведении самыми лестными словами.

Я вежливо поблагодарил и понял, что – либо я сейчас задам ему свои вопросы, либо он исчезнет из моей жизни навсегда. На одном дыхании я выпалил ему всё, что было у меня в голове. В отчаянии признался ему, что мы с женой ждём ребёнка, ждём с радостью, но нас очень беспокоит её непомерно большой живот... Услышав это, доктор стал серьёзным, спросил, далеко ли я живу, узнав, что совсем рядом, только и сказал:

– Одевайтесь, господин Кальб. Мы идём к вам домой, немедленно.

Он велел своему кучеру следовать с экипажем за нами, и через несколько минут мы были дома.

Нестор Максимович приветливо поздоровался с Наташей, которая даже не успела смутиться и испугаться: я не раз её предупреждал о возможности такого визита. Они удалились для осмотра, а я в волнении присел в кресло. Я извёлся в ожидании, мне казалось, что прошло очень много времени. Наконец, доктор и Наташа явились пред моими очами. Я вскочил с места, но увидев весёлое лицо эскулапа и лицо жены, смотревшей на меня в какой-то счастливой растерянности, я застыл, ожидая объяснений.

– Я поздравляю Вас, Адриан... Через пару месяцев Вы станете счастливым отцом двух малышей.

Я онемел, Нестор Максимович рассмеялся.

– Да, двух! У Вашей жены будет двойня, с чем я Вас обоих и поздравляю. При осмотре я не увидел ничего угрожающего ни её здоровью, ни здоровью Ваших будущих наследников. Необходимые рекомендации по питанию я ей дал. Конечно, надо быть во всём аккуратной и не утомляться чрезмерно, при этом, думаю, всё будет хорошо.

Я не сдержался и обнял свою жену. Она прослезилась, прижавшись лицом к моему плечу.

Я предложил доктору чаю, но он замахал руками.

– Что Вы, что вы! Я ведь только что пресытился в Вашей

кондитерской!

От врачебного гонорара он тоже категорически отказался, сославшись на то, что я его постоянно угощаю бесплатно.

Но собравшись уходить, он вдруг спросил.

– Скажите, Адриан... Вы не возражаете, что я называю Вас по имени?

– Нет, нет! Мне это очень лестно.

– Скажите тогда, что за удивительное отопление у вас в доме? Печей нет, и запаха дыма тоже нет. А воздух тёплый и свежий постоянно, что Вашей жене очень на пользу. Что за чудо такое?

– Чудо это изобрёл мой друг детства Николай Львов. Это его особенная метода отопления.

– Львов? Это не тот ли Николай Львов, который нынче прославился как архитектор?

– Да. Он и архитектор, и литератор, и строитель... Какое ремесло или искусство ни назовёте – всё будет иметь к нему прямое отношение.

– Я много слышан об этом удивительном человеке и очень хотел бы с ним лично познакомиться.

– Так нет ничего проще! Николай очень общителен и к новым людям всегда любопытен, тем более к таким выдающимся личностям, как Вы, Нестор Максимович...

– Не перехвалите меня, друг мой. Скажите, не тот ли это Николай Львов, о романтической истории женитьбы которого сплетничают в Петербурге?

– Да. Это именно его история. Нынче он женат на своей любимой девушке, Машеньке, дочери обер-прокурора Дьякова.

– Вот как... Не та ли это Машенька Дьякова, что так прекрасно исполняла роль Дидоны в знаменитом спектакле у Бакунина?

– Она, она...

– Так я был на том представлении. Она, действительно, была великолепно в этой роли. Так как же мне найти Вашего друга?

Я засмеялся.

– Нет ничего проще: они с женой живут во дворце Александра Андреича Безбородки...

Я проводил его до кареты. Прощаясь со мной, он сказал.

– На днях я пришлю Вам свою помощницу. Она прекрасная повитуха и славный человек. Катерина Игнатьевна, так её зовут, будет наблюдать Вашу жену до самых родов и детишек ваших примет, когда время придёт. Не волнуйтесь, всё будет хорошо.

Легко сказать – «не волнуйтесь!» Конечно, я страшно волновался и за Наташу, и за наших детишек. Катерина Игнатьевна появилась у нас на следующий день, и следила внимательно за здоровьем своей подопечной до самых родов. Последние три дня она вообще ночевала у нас в доме. Всё прошло благополучно, хотя мне казалось, что прежде, чем мои дети появятся на свет, я сам умру от волнения. Наташа роди-

ла мальчика и девочку. Это было просто замечательно. Дом наш огласился детскими криками. Срочно пришлось нанять расторопную няньку. К счастью, Дьяковы не забыли о своей бывшей подопечной: няня появилась в нашем доме через день. Она была из крепостных обер-прокурора, уже в солидных годах, но опытная и ловкая. Мы приготовили самую уютную комнату в доме под детскую, няня ночевала рядом с детьми, и по ночам мы редко слышали детский плач.

Наташа наотрез оказалась от кормилицы, решительно заявила, что пока у неё хватает молока для двоих малышей, она будет их кормить сама, ну, а там будет видно.

Дети родились в мае, в самый Николин день. Сам Господь Бог дал имя нашему сыночку. К тому же это был день и тезоименитства нашего друга Николая Львова. А дочке, конечно, дали имя Марии, в честь нашей любимицы Машеньки, Марии Алексеевны Львовой.

А доктор Нестор Иванович тесно сошёлся с семейством Львовых и не только по взаимной симпатии. Прошло чуть более года после появления на свет наших малышей, как и Машенька родила старшего сына Леонида. Конечно, всю свою беременность была она под наблюдением профессора, который навсегда остался её близким другом. Года через два после Леонида появился у Львовых второй сын – Александр. Как хватало сил у Львова на все его бесконечные дела и открытия, заботы о благе Отечества своего и как умел он совмещать любовь к жене и детям, устройство собственного бы-

та —я так и не понял до сих пор.

Как я писал уже, мои любезные читатели, ещё в юные годы Львов не раз имел продолжительные беседы с дядюшкой своим — в те времена главным директором горных и монетных дел Михаилом Фёдоровичем Соймоновым, о каменном угле и его разработках. Государство наше развивалось, вместе с ним развивалась промышленность, изобретались новые машины, паровые, гидравлические, «огневые» — они требовали громадного запаса топлива. Каменный уголь, конечно, был хорошо известен, но привезённый из Англии, он стоил очень дорого. Во время своих почтовых поездок по Валдаю Львов открыл залежи «земляного угля», как в те времена называли каменный уголь. Николай тогда писал мне из Валдая: «Я весь в угольной яме... уголь, который теперь пошел, на всякую потребу годен — не только что обжигать известь или кирпич и готовить кушанье, но металлы с удивительным успехом обжигает...».

Отправив уголь на барках, Львов вернулся в Петербург, и, немедля начал хлопотать об использовании его в промышленности. Он предполагал, что он будет использован на казённых сахарных фабриках, на строящемся пушечном заводе в Петрозаводске... В Горном училище были проведены опыты по определению его качества. Николай с гордостью сказывал мне, что оно было оценено очень высоко: Валдайский уголь был не хуже английского. Львов подал «объяснение» в Коммерц-коллегию, о выгодности добычи и разработ-

ки собственного русского угля, что, во-первых, сохранило бы от вырубки наши леса, а во-вторых – стоило бы государству значительно меньших затрат, чем оплата английского угля. Вскоре последовал высочайший указ, и Николай Львов стал официально добытчиком «земляного угля». Но с углем этим произошла весьма тяжёлая история, если не сказать – трагическая. Столичные чиновники чинили препоны отечественному сырью, предпочитая уголь «аглицкий», спроса и покупателей на Валдайский уголь не было. В отчаянии Львов сгрузил его на собственной даче, которую недавно построил рядом с Невским монастырём. Но у живущего по соседству купца случился пожар, который, истребив все хозяйственные строения, стоявшие на берегу, перекинулся на уголь, который никак не могли потушить. Он горел два года... Какие нравственные муки терпел при этом Николай, трудно даже представить. Львов так и не смог осуществить свою мечту заменить в России английский уголь Валдайским. Снова и снова обращался он с этой идеей к сильным мира сего, но от него только отмахивались. Он замолчал, но не смирился. Дел и помимо добычи угля у него было предостаточно.

Мы с Наташей были поглощены своими домашними делами – росли дети и, как положено малышам, требовали всё большего внимания. Конечно, за летние месяцы они окрепли, и уже не так часто болели, как весной. Няня наша пока с ними управлялась, но всё чаще мы стали думать, что очень скоро придётся нам искать ей помощницу. Наши собствен-

ные труды тоже требовали постоянного наблюдения. Наташа взяла ещё одну вышивальщицу в свою артель, и сама теперь от пошива платьев могла отойти. Оставила для себя чисто творческую работу, которая ей особенно была по душе: теперь она могла заниматься только придумыванием новых фасонов, по рисункам Львова, особых видов вышивки и кружев, изысканных украшений драгоценными камнями... Но основное время она посвящала нашим детям, поскольку кухней занималась наша чухонка.

Моя кондитерская тоже была успешна. Я не переставал думать и фантазировать о том, чем ещё можно привлечь посетителей, чем развлечь их, чтобы принудить находиться у меня как можно дольше. Я начал выписывать всякие газеты и журналы, которые свободно лежали на столах и могли быть прочитанными любым моим гостем. Поначалу это были, конечно, Петербургские издания, потом я умудрился выписать и французские, и немецкие. Они пользовались неизменным успехом. Даже гувернантки задерживались, не уходили, пока не прочитают свежие новости. А чтобы дети не капризничали, они заказывали им и себе ещё чаю со всякими сладостями...

А зимой грянуло настоящее эпохальное событие, о котором стали подробно писать не только наши газеты и журналы, но и запестрели страницы всех заграничных изданий. Петербург загудел, как встревоженный улей, и моя кондитерская неожиданно стала настоящим центром всяческих дис-

куссий и обсуждений этих новостей. Дело в том, что в январе 1787 года императрица отправилась в длительное и сложное путешествие в Тавриду. Как писали газеты, целью его была инспекция территорий, только что присоединённых к России в ходе войн с Турцией. В 1783 году Крым был объявлен присоединённым к России. Эти земли были переданы под управление князю Потёмкину, который и занимался организацией сего грандиозного похода около четырёх лет. Конечно, конечно, я хорошо помню, что обещал вам, любезные читатели, избегать описаний знаменательных исторических фактов. И вовсе не хочу утомлять вас, сведениями, которые вы и без моего участия можете почерпнуть в разных исторических источниках. Описанием сего путешествия кто только не занимался: и секретари государыни, и приглашённые послы, и частные лица. Кого интересуют подробности, всегда могут их найти в библиотеках или в старых газетах.

Но в данном случае мне трудно будет избежать кое-каких подробностей, поскольку мой друг Николай Львов, по служебным обязанностям своим, стал непосредственным участником сего похода. Он оставил о сём путешествии великолепные записки, после, когда я едва уговорил его дать мне их прочитать, я просто зачитывался ими. Постараюсь быть по возможности кратким в их пересказе.

В свите государыни по долгу своей секретарской службы находился неизменный Александр Андреич Безбородко, который не отпускал от себя Николая Львова ни на шаг. Ко-

нечно, они не ехали с императрицей в её двенадцати местной карете, запряжённой сорока лошадьми (в этой изумительной карете был кабинет с обеденным столом на восемь персон, канцелярия, библиотека и даже (пардон!) отхожее место), но следовали за ней, как говорится, по пятам.

В каждом из городов, в которых по замыслу великого стратега князя Потёмкина, планировался отдых государыни, возводились настоящие Путевые дворцы, которые оснащались мебелью, посудой и столовым бельём. Стены их обивались разноцветной шёлковой материей под цвет изысканной мебели, расписывались художниками, раззолачивались и украшались. Вот эти сведения имеют в моём рассказе главное значение.

Как я уже упоминал, верный друг и ближайший родственник Львова Василий Капнист в то время жил в Киеве и был предводителем Киевского дворянства. Как после подробно рассказывал мне Николай, он встретил поезд императрицы во главе депутации дворянства, и произнёс соответствующую событию речь. Выполнив свой чиновничий долг, Василий оказался в объятиях Николая. Они были необычайно счастливы этой встречей и, что называется, отвели душу. Именно тогда впервые услышал Николай от Капниста имя Владимира Лукича Боровиковского – потрясающего художника, с которым, как всегда у него бывало, случайно завязавшаяся дружба продолжалась до конца его дней. В то время Боровиковского знали немногие лица в Киевской губер-

нии: кого интересовал некий богомаз, вышедший из семьи богомазов. Открыл его как художника именно Капнист. Он с восторгом рассказывал Львову о талантливом самородке, по его рекомендации расписавшем великолепными аллегориями стены в Кременчугском Путевом дворце. Как друзья оказались в этом дворце прежде государыни, я сейчас и не припомню, только Львову не только понравились эти росписи, они его просто потрясли тонкостью живописи и совершенно непривычным взглядом на аллегорию. Путевой дворец в Кременчуге с великолепными росписями произвёл на императрицу большое впечатление. По настойчивой просьбе Львова, (от Безбородки она знала, конечно, что в кругах деятелей искусства звали его «Гением вкуса», и потому особенно прислушивалась к его мнению) она особенно внимательно изучила обе написанные Боровиковским аллегории. Они весьма польстили её самолюбию. На одной из них был изображён Пётр Первый в облике землепашца, и она сама, засевающая поле... Другая аллегория изображала её в образе Минервы в окружении семи мудрецов Древней Греции. Как и просил её о том Николай, Екатерина согласилась встретиться с автором этой живописи. Встреча оказалась благотворной: Екатерина рекомендовала Боровиковскому ехать в Петербург и поступать в Академию художеств. Честно говоря, о том и речи не могло быть – Владимир Лукич был уже не первой молодости... Но решение о переезде в столицу было принято незамедлительно, и художник начал готовиться

к отъезду, получив твёрдое обещание от Николая Львова о всяческой поддержке.

Признаюсь, любезный читатель, что столь длительное моё отступления от основного повествования понадобилась мне только для того, чтобы объяснить, как появился в кругу Львова ещё один замечательный человек – великий русский художник Владимир Лукич Боровиковский.

Императорский поезд вернулся в Петербург через полгода странствий. К счастью, вскоре после этого события был, наконец, достроен Почтовый департамент, и Николай Львов получил в нём прекрасную многокомнатную квартиру в бельэтаже. Счастливое семейство, с неизбывной благодарностью распрощавшись с гостеприимным хозяином Безбородкой, благополучно переехало под собственный кров. По случаю переезда был, как положено, устроен блестящий дружеский вечер. Мы с Наташей были приглашены на него в числе прочих гостей. Перед тем я отправил Львовым свой экипаж, заполненный до самого верха коробками и пакетами со сладостями и свежей выпечкой. А три «печки», с особым мороженым моего собственного изобретения, имеющим большую популярность в столице, я вечером вёз в карете на своих коленях. В этой квартире одна за другой родились у Львовых ещё три дочери. Семья была самая счастливая, и родители и дети просто купались во взаимной любви. Жили Львовы в полном достатке: в эти годы Николай был очень успешен и востребован по всем своим ипостасям. У

них было немалое количество крепостных, слуг для работы по дому и для воспитания детей.

Двери этого гостеприимного дома всегда были распахнуты настежь: в нём постоянно кто-то жил, то ли из новых друзей, то ли из старых знакомцев. Часто и надолго здесь останавливался Капнист, приезжавший в Петербург по делам или только для того, чтобы встретиться с друзьями. Про литературные собрания и не говорю: с этого времени, хоть и редко, но проходили они только в квартире на Почтамской.

Боровиковский был уже в Петербурге, и Николай поселил его у себя. Он, как мог, поддерживал нового друга: художника в столице никто не знал, и только благодаря его ходатайствам, Владимир Лукич получал заказы на росписи в построенных Львовым церквях и храмах. Знаю точно, что расписал он в Торжковском монастыре и знаменитый Борисоглебский храм, возведённый также по проекту Николая.

Что до меня, то я познакомился с Боровиковским, конечно, в доме Львовых. Владимир Лукич мне понравился с первого взгляда. Был он со всеми приветлив и доброжелателен, как после выяснилось – к деньгам относился довольно беспечно. Даже тогда, когда они стали словно прилипать к нему, нисколько не думал о будущем – посылал на родину в Миргород родственникам и друзьям огромные посылки, а по субботам раздавал деньги нищим. Владимир Лукич быстро сблизился со всеми друзьями Львовых, а главное очень тесно сошёлся с Левицким, с которым они были земляками. Доб-

рейшей души человек, Дмитрий Григорьевич вызвался давать Боровиковскому уроки живописи. И в течении нескольких лет они работали в его мастерской, как говорится, бок о бок. Вот в это время и стал Боровиковский постоянным посетителем моей кондитерской – ведь дом Левицкого был по соседству. В первый раз они пришли уже к вечеру вместе. Оба выглядели усталыми, с покрасневшими от работы глазами. Я тут же велел своим людям оказать им самое большое внимание. Эти великие мастера попросили и меня присесть рядом и попить чаю вместе с ними, я, конечно, был немало этим польщён. Вскоре художники немного расслабились и разговорились. А Владимир Лукич, посмеиваясь, заметил.

– А знаете, Адриан Францевич, мне Дмитрий Григорьевич нынче рассказывал, как вы с ним над портретами младших смолянок работали... Он убеждён, что только благодаря Вашим вкуснейшим кренделькам и шанежкам, он сумел такие шедевры живописи создать.

Я смутился не на шутку, но оба мастера так искренне рассмеялись, что мне ничего не оставалось, как только засмеяться вместе с ними.

После этого случая Боровиковский заходил в кондитерскую довольно часто. Но совсем коротко я сошёлся с ним только через несколько лет, когда он, по моему приглашению, поселился летом у меня на даче. Но о том будет рассказ особый.

Жизнь продолжалась. Машенька, конечно, осталась по-прежнему самой главной заказчицей платьев у Наташи. Поскольку она то полнела до родов, то худела после них, дорогие платья нужно было постоянно перешивать и переделывать. А позднее и новые фасоны стали очень отличаться от прежних, а Марии Алексеевне Львовой всегда должна была выглядеть комильфо. Для того обе наши мастерицы пускали в ход всю свою творческую фантазию и изобретательность. Платья то украшались кружевами и вышивкой, то становились более скромными, уютными и домашними. От того, что было у наших жён помимо человеческой привязанности общее дело, они были очень дружны. Имели от нас с Николаем какие-то свои тайные дела и секреты. Мы с моим другом только посмеивались и подшучивали над ними, когда они прятались в будуаре у Машеньки или в комнате у Наташи, когда Львовы изредка посещали нас.

С годами я, благодаря своему профессиональному умению, приобретал всё большую известность и уважение среди людей состоятельных и весьма влиятельных. Меня знали обыватели не только Васильевского острова, но и всего города. Выбирали меня неоднократно на общих собраниях и на всякие ответственные выборные должности, с обязанностями своими я всегда справлялся ответственно и исправно. И всё же – моя жизнь, тем временем, постепенно теряла для меня привлекательность. Кондитерская моя процветала, и, в конце концов, я совершенно отошёл от дел, поскольку и мой

первый помощник Пётр, и поумневший и возмужавший Никита прекрасно справлялись и без меня. Ну, а я ... А я вдруг заскучал. Не улыбайтесь, пожалуйста, мой любезный читатель, я сейчас всё разъясню. Скучно мне стало от того, что я про дело своё теперь всё знал, никаких сюрпризов я более от него не ждал – в денежных делах, так же, как и в кондитерских, я стал недюжинным специалистом и мог просчитать всё наперёд, избегая убытков в прибыли. Я завидовал Николаю в его неистощимой фантазии, в том, что голова его была всегда занята какими-то новыми грандиозными планами, делами. У меня же всё шло по проложенному когда-то руслу, никаких тебя открытий и новшеств... Тужил я тужил, тосковал- тосковал, и вдруг заболел идеей, о которой даже Наташе не сразу посмел сказать. Решил я, друзья мои, открыть свой ресторан. Вот именно – ресторан. Надо признаться, что несколько заведений с этим громким названием уже существовали в центре города. Я не раз посещал их. Но рестораны эти были всё одно, что трактиры: было в них шумно и неуютно, народ пришлый, совершенно непонятный, сновал туда-сюда, да и кухня была какая-то пёстрая: ни образа конкретного, ни стиля. А про убранство зала и обеденных столов и говорить нечего. И, чем я больше думал о собственном таком заведении, тем более представлял, каким оно должно быть, каким я его хочу видеть. У меня был богатый опыт в организации своей образцовой кондитерской, которую за долгие годы существования ни один конкурент в Петербурге

не мог перещегоолять: ни по замыслу всего предприятия, ни по уюту в зале, ни по моей фирменной выпечке, конечно. И ресторан я возмечтал открыть в таком же стиле, чтобы всё в нём было по самому высшему разряду, начиная от зала, уюта, какой-то особой выдумки для привлечения гостей (какой – я пока и представить себе не мог) и по вышколенному поведению всех слуг. Ну, а самое главное – это, конечно, кухня. Мечтал я, на этот раз, кухню представить преимущественно из русских блюд, для приготовления которых был у меня в наличии мастер высокого класса – мой родной дядя Ганс. Хоть и постарел он изрядно, но имел голову совершенно ясную, и прекрасные руки кухонного умельца. А тут ещё подлил он, что называется, масла в огонь: сообщил мой любимый дядюшка, посетив нас с Наташей недавно вечером, что его хозяин, уважаемый Юрий Фёдорович Соймонов на неопределённо долгое время должен по своим служебным делам уехать в Москву и собирается забрать с собой своего личного повара. Но дядя Ганс на старости лет не хотел переезжать в чужой город. Старик был совершенно потерян и расстроен, пришёл ко мне посоветоваться. А у меня даже дух перехватило – так всё прекрасно может сложиться – в моём ресторане будет первоклассный повар. Конечно, дядя мой уже стар, но я подыщу ему хороших помощников, которыми он будет руководить, и бог даст, кто-то из них займёт со временем его место... Конечно, я ни ему, ни жене ничего пока говорить не стал, но пообещал дядюшке позаботиться

о нём и непременно найти выход, если он решит остаться в Петербурге.

Но мечты о ресторане упирались в самую главную проблему – он должен был находиться в каком-то доме, который ещё предстояло построить. В этом-то и была для меня самая главная загвоздка. Это было для меня почти непреодолимым препятствием. А тут на нас с Наташей вплотную надвинулась ещё одна серьёзная проблема, о которой лет этак пять-шесть назад мы даже и помыслить не могли. А дело-то было самое житейское. Дело было в том, что наши дети росли, росли и требовали для себя всё большего жизненного пространства. Они теперь жили в разных комнатах, постепенно увеличилось количество слуг, няньки сменились гувернёром и гувернанткой, появились учителя... И старый уютный дом Наташиных родителей стал, что называется, трещать по швам. Наш родной дом становился нам теснее день ото дня. Летом нас спасала дача, которую я купил по соседству с дачей Львовых, заплатив немалые деньги за уцелевший от пожара дом тому самому купцу-погорельцу, но к зиме наше многочисленное семейство со всей челядью опять оказывалось в тесноте на Кадетской линии. Конечно, жена моя это прекрасно видела, но молчала. Лишь однажды, когда горничная, столкнувшись с ней на узкой лестнице, вылила на её платье кувшин с водой, Наташа, ни слова ей не сказав, только разрыдалась. Тогда я и решил, что пора нам поговорить обо всём серьёзно. Мы просидели за этим разговором почти всю

ночь. Наташа понимала, что родительский дом надо оставить ради нашего семейного благополучия, но для неё это было очень тяжёлым решением. Она плакала, а я успокаивал, вот так и проговорили много часов. Тогда я и решился ей сказать о мечте своей по поводу ресторана. Жена слушала меня очень внимательно, как всегда, всё поняла без лишних объяснений. И мы приняли решение о строительстве нового трёхэтажного дома. На первом полуподвальном этаже мы размечтались расположить её артель, девушки которой уже давно работали без непосредственного участия хозяйки, на втором, в бельэтаже – будет мой ресторан, а на третьем – просторная наша квартира. Я решил просить Львова составить проект того дома, который мы только что придумали с Наташей.

На следующий день, не откладывая дела в долгий ящик, отправил я человека к Юрию Фёдоровичу Соймонову с нижайшей просьбой принять меня в удобное для него время. Человек вскоре вернулся и сообщил, что Юрий Фёдорович нынче дома и готов меня принять. Я заторопился к нему. Дело в том, что именно Соймонов до отъезда в Москву отвечал за строительство частных домов по чётной стороне Невского, которое было совсем недавно разрешено. Я твёрдо решил построиться именно там.

Юрий Фёдорович принял меня в своём кабинете. Внимательно выслушал меня, и... неожиданно отговорил от какого-то ни было строительства на Невском, объяснив, что это

очень хлопотно, очень дорого, а самое главное – долго.

– Я Вам одну мысль подам, – по-доброму улыбнулся он. – Нынче на Миллионной улице продают дом наследники купца Еремеева. Мне кажется, дом этот Вам подойти может по всем признакам: он двухэтажный, весьма вместительный и в центре города. Еремеев-то для себя строил, и, насколько я знаю, сам Николай Львов ему отопительную систему в доме проводил по своему проекту, который Вам прекрасно известен. Купец ни дня в нём не успел пожить, вскоре помер, а наследникам дом оказался не нужен, вот и продают. Я сегодня же справки наведу и Вам сообщу, как с ними связаться. Если о цене договоритесь, то, поверьте мне, это для Вас большая удача будет. Насколько я понимаю, Вы ведь и кондитерскую в новом месте захотите открыть, не оставлять же её на Кадетской линии, про артель Вашей жены я и не говорю... Это будет Вам легко сделать: по соседству с домом Еремеева большой доходный дом наполовину пустой стоит, там можно хоть мастерскую Вашей жены открыть или хоть ту же кондитерскую.

Я был очень признателен Соймонову. Вскоре сделка с наследниками дома была совершена, денег мне хватило в обрез, и я тут же выставил на продажу свою кондитерскую, за которую рассчитывал получить хорошие деньги. Но продажа её должна была занять достаточное время. Но когда я сообщил своему преданному помощнику Петру, что хочу продать кондитерскую и открыть ресторан, он словно остолбе-

нел и несколько минут не мог произнести ни слова. Решив, что он испугался, что я его выгоню на улицу, я стал убеждать его, что мы будем, как и прежде, работать вместе, и Никиту, конечно, я тоже заберу с собой. Но Пётр, придя в себя, сообщил мне такое, что теперь уж я онемел от неожиданности. Дело в том, что этого кухонного умельца когда-то рекомендовали мне знакомые повара из Воспитательного дома, в который он попал в младенческом возрасте. В Воспитательном доме многим ремёслам обучали, но Петруша прилип к кухне, да так и провёл в ней все отроческие годы, а потом вообще стал трудиться там в качестве повара. Мне рассказывали, что доподлинно о его родителях ничего неизвестно, но по слухам он – дитя очень важного сановника, такого важного, что я даже предположительно называть его опасаясь. На имя Петра приходили в Воспитательный дом большие суммы на протяжении всех лет, в которые он числился воспитанником, и Пётр об этом знал. Но буквально месяц назад пришёл к моему помощнику некий стряпчий или душеприказчик, разве поймёшь?! Так вот этот человек сообщил, что благодетель Петруши почил в бозе и оставил ему огромную сумму в наследство. Вот такая вышла история. Петруша мой долго не мог переварить это сообщение, никому не рассказывал, помалкивал, но, так же, как и я в старые времена, размышлялся открыть собственное дело. Строил планы, и пока не решился советоваться со мной, не зная, как я отнесусь к такому известию. Ну, а тут я с продажей кондитерской... Пётр чуть

не на колени передо мной встал, умоляя продать ему наше детище и оставить его самого здешним владельцем. Обещал, что вывеску сделает не «Кондитерская Кальба», а «Кондитерская по рецептам Кальба»... Вот такие дела! Конечно, мы тут же обговорили с ним все наши финансовые дела, и сделка, счастливая и выгодная для обоих, была произведена. Запнулись мы только на судьбе Никитки. Пётр-то, конечно, даже представить не мог, как это он с ним расстанется, был он для него, не имеющем никакой родни, как младший братишка. За прошедшие годы превратился озорной Никитка в серьёзного кондитера Никиту Иваныча. Парень теперь был непростой, заметный, с острым умным взглядом, достаточно образованный – не зря монахи Торжковского монастыря над его детскими мозгами потрудились. Молоденькие гувернантки на него засматривались, когда выбегал он по службе из кухни в зал. Про его способности кондитера тоже много лестных слов можно сказать: кое в чём он не только Петра перещеголял, но даже и меня иногда поражал фантазией своей. Позвали мы Никиту, объяснили ему, в чём дело и напрямик спросили, с кем он хочет остаться. От неожиданности он было совсем растерялся. Но подумав немного, выбрал меня, поскольку считал, что многим мне обязан. Я, конечно, очень тому обрадовался, не ровён час, мог обоих своих помощников потерять, на которых так надеялся.

К сожалению, Николай, хотя и был в то время в Петербур-

ге, помочь мне никак не мог. В семействе Львовых в то время наступили тяжёлые времена, о которых я расскажу чуть позже. Я не смог показать другу свой новый дом. Но в ответ на моё письмо он подробно описал тонкости строительства этого здания, в благоустройстве которого он принимал самое деятельное участие, его достоинства и недостатки. Отопление, и в самом деле, организовывал он непосредственно и заверил меня, что с этим у меня проблем не будет. Мы с Наташей стали готовиться к переезду. У нас сложился чёткий план: в доме на втором этаже будет наша квартира, большая, многокомнатная, с отдельным входом для прислуги и с несколькими комнатами для неё в мансарде. А внизу мы расположим Наташину артель. А в соседнем доходном доме на втором этаже будет находиться мой ресторан... Кстати, сразу сообщу Вам, любезный читатель, что эта идея была счастливой. Дело в том, что в этом доме находилась творческая мастерская наставника Боровиковского художника Лампи. Владимир Лукич бывал здесь почти ежедневно и, конечно, как только мы переехали на Миллионную, частенько стал захаживать к нам в гости. В конце девяностых годов Лампи уезжал из России на родину в Австрию, и оставил Владимиру Лукичу свою прекрасную мастерскую, где Боровиковский и поселился, и мы с ним оказались самыми ближайшими соседями.

Покупатель на наш семейный дом нашёлся достаточно скоро: известный в Петербурге ювелир, тоже немец по

происхождению, живущий на Васильевском острове, пожелал его приобрести, как можно скоро. Его очень устраивало отдельное помещение, где располагалась Наташина артель, нравилось, что оно имеет отдельный вход. Он мечтал здесь оборудовать свою удобную ювелирную мастерскую. Мы быстро сговорились. Вскоре наше семейство переехало на Миллионную улицу и начало обживать новые большие и удобные комнаты, в которых и мы с женой, и дети наши чувствовали себя прекрасно. Через некоторое время я смог вплотную заняться организацией своего ресторана.

А Николай Львов, как всегда, занимался самыми разными, серьёзными делами, совершенно несвязанными между собой. «Неугомон» – звала его любящая жена.

Как зеницу ока, долгие годы берегу я пожелтевший от времени листочек, на котором мелким острым его почерком вот такие стихи:

«Зачем? Да, мне зачем метаться?
Мне –шаркать, гнуться и ломаться?
Лишь был бы я здоров и волен.
Я всем богат и всем доволен.
Меня всем Бог благословил:
Женил и дал мне всё благое.
Я счастье прочное, прямое
В себе иль дома находил.

И с ним расстаться не намерен.»

Наш любимый архитектор строил и проектировал по всей России, редко бывал и дома, и в Никольском, а любимая его жена, Мария Алексеевна, отчаянно скучала без него. Вместе с детьми она уезжала на всё лето до глубокой осени в имение, где с хозяином и без присутствия оного во всю кипело строительство, и оставалась там до глубокой осени. Мы с Наташей неизменно получали приглашение пожить в разгаре лета в Никольском. Недавно я нашёл пожелтевшей от времени листок – чудом сохранившийся отрывок письма Марии Алексеевны, датированный 1788 годом. Она писала нам: «Знаете ли вы, что ваш Николай Александрович совсем ныне заспивел, и уже со мною жить не хочет. Я живу одна, а он всё по графам и князьям и по их прислужницам разъезжает. Да это мне не больно. А больно то, что вы меня бросили в Никольском совсем одну...»

Ну, разве не разжалобишься от таких слов!

Оставив свои дела на надёжных помощников мы, конечно, с благодарностью откликнулись на приглашение, чем приводили в восторг и собственных детей, обожавших эти поездки, и детей Львовых, встречавших нас радостными криками и восторженным визгом.

А Никольское сказочно преобразалось, на моих глазах: старое имение меняло свой облик. Целых десять лет положил Львов на преобразование родных Черенчиц, ставших

Никольским. Это было его родовое гнездо, здесь он ни от кого не зависел и был архитектором, строителем, инженером, садоводом, художником – всё в одном лице. Но ведь это была и моя вторая родина, я очень близко к сердцу принимал все преобразования в ней. Постепенно выравнивался ландшафт, особая дренажная система осушила древнее болото, то самое, в которое мы с Николенькой провалились когда-то в детстве, вместо него образовался целый каскад прозрачных прудов, украшенный оригинальными статуями. Я не устаю повторять, что мало понимаю в архитектуре и в тонкостях строительства, но знаю точно одно: Львов умел превращать обычные хозяйственные постройки в барских усадьбах в нечто фантастическое, небывалое прежде в России. И, прежде всего – в Никольском. Чудную кузницу, например. Знаете, как она выстроена? Из разноцветных валунов с арками, напоминающими античную руину. Внутри – всё, как положено: горн и наковальня, склад для угля, тёплая комната для кузнеца, навес для подковывания лошадей и ещё что-то – не помню... Но как фантастически смотрелись внутри кузни стены из валунов, когда по ним скользили блики от кузнечного горна!

А мой любимый потрясающий погреб-ледник! Этакая кирпичная, облицованная камнем пирамида, разделённая фантазией архитектора на три уровня. Верхний – словно парковая беседка, освещённая сверху окнами в куполе, так любимыми Львовым. Здесь прохладно в любую жару, и мы,

друзья Львовых, любили пить там чай в полдень и вести долгие беседы. Ниже, на втором этаже – круглое просторное помещение с отдельным входом. Там всегда стояли огромные бутылки с прекрасным вином, которое производили в Никольском под зорким присмотром хозяйки имения. Вино это имело славу не только в Торжке, но и в ближайших губерниях и приносило Львовым немалый доход. А внизу – это собственно ледник, глубиной метров десяти. Николай придумал использовать в нём не зимний лёд, коим забивались подобные сооружения в русских усадьбах, а природные грунтовые воды. За лето они накапливались в огромном резервуаре, а зимой промерзали до самого его дна... В этом леднике любые продукты могли храниться длительное время. Я сам не раз, приезжая в Никольское, готовил для хозяев и многочисленных гостей большие запасы мороженого, которое оставлял на хранение в этом леднике. Мы с удовольствием поедали мой десерт порой в течение нескольких дней.

Это, конечно, не все фантастические постройки Николая, были и другие – один дровяной сарай с колоннами, фронтоном и портиком чего стоит! А ещё – оранжерея, ветряная мельница, скотный двор, конюшня...

Но вот, наконец, приступил мой друг и к постройке долгожданного дома. Матушка его, Прасковья Фёдоровна, Мария Алексеевна с детьми, а также и мы – многочисленные и бесконечные гости устраивались пока в старом деревянном доме, а рядом, что в присутствии хозяина, что и без него,

пока он был в служебных разъездах, во всю кипела стройка – возводился дом-дворец архитектора Львова. Я нисколько не иронизирую: для Николая его собственный дом в Никольском был именно дворцом – в два с половиной этажа, с бельведером – ажурной беседкой на крыше, из которой можно было лицезреть прекрасную панораму вокруг. Столько сил, энергии, фантазии, инженерного гения было в него вложено! Основная идея создателя – это комфорт! Комфорт и удобство – вот главные его девизы. Мы, друзья Львова, посетив Никольское несколько раз, уже ничему не удивлялись, но не переставали восхищаться: и водоподъёмной машине, которая доставляла воду в бельэтаж, и знаменитой Львовской системе отопления, при которой воздух в доме был всегда не только тёпел и чист, но разносил по комнатам запах свежих роз. А чего стоили уникальные обои в гостиной, сделанные Марией Алексеевной из соломы и расшитые цветной шерстью! Меня, повара, просто в восторг приводила паровая кухня, где паром вращался огромный вертел, и сама собой мылась посуда...

Когда я вспоминаю прекрасные дни и вечера в Никольском, в кругу друзей Львовых, рядом с самыми дорогими для меня людьми – Николаем и Марией Алексеевной, и всеми нашими детьми, которые были здесь же, рядом с нами, то у меня... Нет, не слёзы наворачиваются. На моих губах невольно возникает грустная улыбка. Да. Улыбка! Как ни тяжела для меня утрата Львовых, но сколько ни суждено мне

прожить, светлая память о них, никогда не исчезнет в моей душе.

У меня сохранилось стихотворение Николая, посвящённое этому счастливому периоду нашего общего существования. Я храню, как зеницу ока.

«Я истинно, мой друг уверен,
Что ежели на нас фортуны фаворит
(В котором сердце не во всю зачерствело)
В Никольском поглядит,
Как песенкой своё дневное кончив дело,
Сберёмся отдохнуть мы в летний вечерок
Под липку на лужок,
Домашним бытом окруженны,
Здоровой кучкою детей,
Весёлой шайкою нас любящих людей,
Он скажет: «Как они блаженны!»»

Ах, какие это были замечательные вечера! Мы, друзья Львовых, наезжали толпой, «весёлой шайкой», как любил нас называть хозяин усадьбы. Как-то так получилось, что именно в это время во Львовско-Державинском кружке собрались любители музыки, да не просто – музыки, а музыки русской, народной. Как всегда, это увлечение пошло от Николая. Как-то раз, когда после долгой разлуки мы уединились с ним в его кабинете, он показал мне несколько толстых

исписанных тетрадей.

– Знаешь ли ты, о, инородец, что в них?

– Нет, конечно, – улыбнулся я.

– Так вот... Здесь более двухсот записанных мною русских песен. Это такая сокровищница, такая... Ведь именно в этих песнях открывается самый дух людей прежних времён и такие яркие картины старой жизни! Но представь себе – все эти сокровища никто и никогда не записывал! Я первый!

– Двести песен! – Я был потрясён. – Когда же ты успел?!

Николай засмеялся и пожал плечами.

– Ты думаешь, я знаю? Я тысячи вёрст по России исколесил – и везде эти песни слышал, записывал на почтовых станциях, у ямщиков в долгом пути, во время деревенских гуляний... Я не просто эти песни записал, я ведь их на ноты положил. Это, между прочим, труд непростой: это тебе не итальянский вокал, надобно очень постараться, чтобы в чьём-то фальшивом исполнении услышать мелодию. Вдруг моя попытка собрать и записать эти напевы, каким-то новым лучом осветит музыкальный мир?

В те годы Николай особенно сблизился с Петром Вениаминовым, которого знал ещё по службе в Измайловском полку. Пётр Лукич недавно был отставлен от военной службы, вёл довольно безалаберную, кочевую жизнь и подолгу жил в Никольском. Как я уже сказывал, часто бывал здесь Василий Капнист наездами из Малороссии, появился в нашей компании и совсем ещё молодой Иван Крылов... Пётр Вельяминов

и Василий Капнист прекрасно пели народные песни. Им всегда аккомпанировал на гусях Боровиковский. На мой неискушённый взгляд, виртуозно играл на скрипке Крылов, он был самоучкой, кроме скрипки умел владеть ещё несколькими инструментами... У Николая был оркестр из сорока восьми крепостных музыкантов, которые играли на народных инструментах – гремяшках, дудках, жалейках, свирелях, рожках...

Помню шуточное стихотворение, написанное по этому случаю Николаем.

«Я сам по русскому покрою
Между приятелей порою
С заливцем иногда пою»...

Но едва заканчивалось это пение, наступал черёд танцам. Признаюсь сразу, любезные читатели, мне – немцу, как ни странно, с детства особенно были любы разудалые пляски крестьян. Помню, мы с Николенькой по праздникам убегали в деревню, садились где-нибудь в сторонке прямо на траве и часами наблюдали, как водят хороводы девушки и какие выделявают коленца в плясках мужики. Я просто диву давался – откуда что у них бралось: ведь только несколько дней назад они с зари до зари, не разгибаясь, трудились на господских полях или на винокурне, а сейчас выглядят такими сильными и красивыми... Эта любовь к русским пляскам осталась

у меня на всю жизнь.

– Лиза, Даша, – не выдерживал я. – Потанцуйте!

– В круг, в круг, – подхватывали мою просьбу остальные.

И на освободившееся на поляне пространство выходили две прелестные юные девушки-цыганочки. Они тоже были из крепостных, как и музыканты, но имели от всех отличие в том, что умели удивительно плясать, как тогда говорили, «по-русски». Мне казалось, что девушки эти сами имеют огромное удовольствие от своего умения. Они не заставляли себя просить, а тут же выходили в круг и начинали плясать, сначала в медленном темпе, а потом всё более и более ускоряя пляску, точно попадая в такт музыки. Это доставляло несказанное удовольствие всем, бывшим здесь, да такое, что даже Гаврила Романыч Державин в одном из своих стихотворений, посвящённых этим вечерам у Львовых, написал вот такие строки:

«...Пусть Даша статна, черноока
И круглолицая, своим
Взмахнув челом, там у потока,
А белокурая живым
Нам Лиза, как зефир, порханьем
Пропляшут вместе казачка,
И нектар с пламенным сверканьем
Их розова подаст рука».

Николай забрал в город этих девушек, взяв на себя обязательства об их воспитании. Они служили у Львовых горничными и были очень привязаны к своим хозяевам. Не отходили от постели тяжело заболевшего Николая, он умер на руках у Лизы.

Не могу удержаться, чтобы не добавить ещё вот что. Когда Львов окончательно переехал в Москву, а затем и в Никольское, Боровиковский переселился в гостиницу и очень скучал летом в опустевшем Петербурге. Я пригласил его к себе на дачу, и он с радостью принял моё приглашение. Длинными, светлыми вечерами я поднимался к нему в мансарду, где он поселился, куда перевёз свои мольберты и где трудился целыми днями. Конечно, к изобразительному искусству я не имею никакого отношения, единственным моим просветителем в этих вопросах был Николай Львов, в пору нашей юности обучавшем меня лепить замки и дворцы из теста и крема. И, конечно, давнее моё общение с Левицким при создании портретов смолянок тоже сыграло свою роль в моём художественном образовании. Но, как ни странно, моё невежество не смущало Боровиковского: он показывал мне миниатюрные портреты случайных знакомых, писанные маслом на картоне, меди, цинке и дереве... Недавно он закончил портрет императрицы на прогулке. Любезным моим читателям, конечно, он прекрасно знаком – на нём изображена пожилая дама, одетая по-домашнему, прогуливающаяся осенью в парке со своей любимой собачкой. Именно с этого портре-

та императрицы началась головокружительная карьера Боровиковского. Не прошло и десяти лет, как он стал главным портретистом Петербургской знати. Но он часто писал портреты и простых людей. И я с гордостью сообщаю Вам, что первым, кто увидел двойной портрет горничных Львовых, милых девушек «Лизыньки и Дашиньки» на цинковой пластинке, был я, поскольку писался он Боровиковским на моей даче.

Но идиллия в Никольском закончилась довольно быстро.

На Львовых посыпались одни несчастья за другими. Во вновь отстроенном доме в Никольском умерла Прасковья Фёдоровна, любимая матушка Николая. После рождения младшей дочери Прасковьи тяжело занемогла Мария Алексеевна: у неё случилась родильная горячка в самой тяжёлой форме. Она потеряла память, никого не узнавала и долгие месяцы находилась в нервно-психическом расстройстве. Как переживал при этом Николай, я даже описать вам не могу. В тот же период он каким-то образом сломал правую руку и самостоятельно даже одеться не мог. Именно в это тяжёлое время у него впервые начали болеть глаза, что лишило его возможности читать, что для Николая было сильнее всякой казни. На него было очень тяжело смотреть – за один год он состарился на десять лет. Как только полегчало Марии Алексеевне, супруги выехали в Никольское, а там снова наступило ухудшение. Кое-как справились с этими напастями. Мы с Наташей приезжали к ним однажды, совсем ненадолго, толь-

ко чтобы проведать друзей, но не докучать им, не утомлять своим присутствием. Тем не менее на душе немного полегчало после этой встречи – Львовы понемногу поправлялись душевно и физически.

В 1796 году почил в бозе Великая Екатерина, и Петербург замер в тревожном ожидании. Да что там Петербург – вся России замерла и притихла. Говорили, что в Зимнем дворце сразу всё переменялось: шелест шёлковых платьев сменился звяканьем ботфорт. Но, по истечению времени, я своим обывательским умишком, а более того по словам Николая, понял: при всех своих парадоксах, капризах и выходах, император Павел не был маньяком, как его пытались представить заговорщики. Он был высокообразованным человеком, понимал толк в искусстве, обладал чувством прекрасного. Едва вступив на престол, новый император, то ли по интуиции, то ли по искреннему расположению, сразу стал выделять Львова. Когда задумал он небывалый публичный спектакль с перезахоронением и коронаванием трупа батюшки своего императора Петра 111, то направил в Москву именно Николая, который должен был доставить в Петербург древние царские регалии для коронации, никогда прежде не покидавшие Кремля. Львов выполнил распоряжение государя безукоризненно и, после окончания церемонии, отвёз эти царские сокровища обратно в Москву в Успенский собор. Я даже представить не могу, каким образом мой друг сумел заинтересовать нового императора идеей

изобретённого им землебитного строительства! Первые дома из земли он построил в своем Никольском, и был необыкновенно счастлив тем, что они получились! Вслед за ними поручено было ему возвести в Павловске так называемую «опытную избу», которая тоже вышла удачной и произвела впечатление на всю царскую фамилию. Николай со смехом рассказывал мне, как по несколько раз в день Великие князья и Великие княгини приходили её лицезреть, удивляясь быстроте постройки, твёрдости и гладкости её стен. И, наконец, получил Львов от императора задание, о котором мечтал: построить по данной методе Приоратский дворец в Гатчине. Дворец этот скоро прославил своего создателя далеко за пределами России. Император Павел совершенно убедился в достоинствах нового строительного материала и, к великому счастью архитектора, поддержал его идею по распространению землебитного строительства по всему государству Российскому. Как я уже не раз писал, что сужу обо всём только по рассказам Николая, но всё-таки, даже я, наконец, понял, что такое землебитная технология, когда слои спрессованного суглинка пропитываются известковым раствором.

– Земля, – втолковывал мне- невежде, Николай, – самый дешёвый, огнестойкий и прочный строительный материал.

Львов мечтал вытеснить из России землебитным строительством деревянное. Если эта идея могла бы осуществиться, не было бы теперь тех страшных пожаров, которые пожирают целые сёла, и при том сохранялись бы наши дрему-

чие леса. Николай сумел убедить императора и в необходимости создания специальной строительной школы, которая готовила бы мастеров землебитного строения. Личным указом Павла I летом 1797 года первая школа была открыта сначала в Никольском, позднее вторая – под Москвой. Директором, конечно, был назначен Николай Львов. Он оказался прекрасным учителем: эти школы за шесть лет своего существования выпустили восемьсот прекрасных мастеров строительного дела, выученных из малограмотных до того мужиков.

Но далее больше: почти двадцать лет короткой жизни своей потратил мой друг на внедрение в косные умы своих соотечественников мысли о выгоде замены дорогого английского угля дешёвым отечественным углем. Всё было тщетно. Но императора Павла ему удалось убедить – был подписан и такой Указ «О разрабатывании и введение во всеобщее употребление каменного угля». Главным директором угольных приисков был назначен Николай Львов.

Но здоровье его всё больше вызывало у нас, его друзей, опасение. В 1798 году к нему вернулась всё та же тяжёлая болезнь глаз. «Я с утра до ночи учу мужиков из пыли строить палаты... – С горечью писал он мне из Никольского. – А пыль и солнце дурные окулисты...»

Пока у него был могущественный покровитель Безбородко, к которому благоволил император, и личное расположение Павла, Николай держался изо всех сил и продолжал

неистово работать. Но в 1799 году Безбородко умер, это выбило его из колеи окончательно. Несчастья и неприятности посыпались на него со всех сторон.

Где-то в самом начале 1800-х годов последовал следующий удар: на Львова было заведено дело о чрезмерных расходах на землебитные постройки. Его обвинили в том, что он силами учащихся Школы обустроивает своё имение. Было принято решение о закрытии якобы бесполезных Школ землебитного строительства. Нервы нашего Леонардо сдали окончательно – он тяжело заболел. Чем именно он болел ни один врачеватель определить не мог. Это было что-то ужасное. Николай то терял сознание, то приходил в себя и даже начинал диктовать какие-то письма, но, пытаясь писать сам, путал иностранные языки в одном предложении... И снова никого не узнавал, даже своих детей, часто бредил. Это состояние продолжалось бесконечно долго – он болел десять месяцев, умирая почти ежедневно. Мы с Наташей с тревогой ждали известий из Никольского. Наконец, мы получили письмецо от нашего друга, которое он надиктовал жене: «. «Сегодня только мог я выслушать и уразуметь три ваших последних письма ко мне, умиравшему... Я движусь, как тень, которую водит чужая сила. Я часто не помню еще места, в которое меня привезли, не знаю дома, в котором живу... Силы мои душевные и телесные истощились, как я диктую, так и хожу, когда двое водят. Тем не менее, я должен буду по делам своим везти кости мои в Петербург, как скоро в состо-

ание приду недвижим лечь в возок». Внизу была приписка от Марии Алексеевны: «Больному моему, слава богу, милые мои, становится лучше, он уже сам начал ходить, понемногу становится похож на человека. Теперь любое его воспоминание о прошлом приносит ему истинное счастье». Едва сумев подняться на ноги, Николай поехал в Петербург, куда ему нужно было прибыть лично, чтобы объяснить о своих затратах и делах. Он доказал свою правоту, но чего это ему стоило! Приехал он один, Мария Алексеевна осталась в Никольском с детьми. Я навестил его в те дни, на него больно было смотреть, он был похож на воскресшего Лазаря – это был ходячий скелет.

Наш любимый доктор-акушер Нестор Максимович Амбодик-Максимович по моей нижайшей просьбе устроил Николаю консультацию у лучшего в Петербурге специалиста, лейб-медика Рожерсона. Это была известная личность, любимый лейб-медик государыни Екатерины, кроме него она вообще не признавала никаких врачей.

Львова он знал лично, симпатизировал ему и очень уважал, поэтому с готовностью откликнулся на просьбу коллеги. Я был в квартире Львовых при этой консультации, и слышал, как Рожерсон тихо сказал Нестору Максимовичу, выйдя из спальни Николая в гостиную:

– Я категорически советовал Николаю Александровичу идти в отставку... Ничего другого к исправлению его здоровья я не нахожу.

А ведь другу моему было тогда всего сорок восемь лет...

Не смотря на совершенное расстройство здоровья Львов остановится не мог. Он спешил, понимая, что век его недолог. В те дни он писал мне из Москвы по поводу определённой суммы денег, взятой у меня в долг, которую не успел отдать в назначенное время: «Долг считай на мне по приезду в Петербург, отдам тут же, как появлюсь. На том свете, мне сказывали, деньги недороги, а на здешнем ведь недолго жить»...

Это грустное письмо заканчивалось таким четверостишьем.

«Неведом и конец нам –вечности начала,

Не разрушается ничто, не исчезает.

Дай мне пожить ещё немного

Ведь каждому своя дорога...»

Не смотря на серьезное расстройство здоровья, он продолжал работать очень много, спешил осуществить все свои планы, которые были бесконечными.

Но... «Король умер – да здравствует король!» Императора Павла сменил новый государь – Александр 1. И, немедля, на Николая оскалили зубы все завистники и доносчики, на него лавиной обрушились клевета и оговоры.

Я всегда считал своего друга гением, и, насколько я знаю, так же думали и все близкие ему по духу люди. Его доста-

точно высоко ценили и правители России. За недолгое время он прошел путь от чиновника VIII класса до Действительного Тайного Советника. Стал действительным членом Российской Академии, Почетным членом Академии Художеств, членом Вольного экономического общества, Главным директором угольных приисков, Главным начальником земляного битого строения в Экспедиции государственного хозяйства, Директором Школы землебитного строительства.

Но так уж повелось испокон веку: всегда вокруг талантливых и гениальных персон вьётся толпа завистников и сплетников, отравляющих жизнь этих избранных Богом людей. Так же было и с Николаем. Его считали баловнем судьбы, и на каждом шагу клеветники из чиновников и всякие ничтожные личности из дворян, как могли, препятствовали его процветанию. Их раздражало в нём всё: и его многочисленные таланты, дарованные Богом, и фантастическая энергия, и самое искреннее желание помочь России. Это мрачное окружение, зависть и подлость, сплетни и клевета очень тяжело действовали на Николая, он стал впадать в депрессию.

Это время стало началом конца многих деяний Львова. «Я так несчастлив в делах моих, – писал он мне из Москвы, – что одного моего имени достаточно для того, чтобы остановить успех любого полезного начинания».

Александр не поддержал его – Школы землебитного строительства были закрыты, а сам метод этот признан неэффективным. На уголь, открытый и добытый Львовым, спроса не

было...

Я очень переживал за здоровье Николая, не раз ему о том писал в Никольское и в Москву, но он только отмахивался. С ужасом узнал я от него, что по величайшему распоряжению ему поручено в ближайшие дни отправиться в составе экспедиции на Кавказ для обследования тамошних минеральных вод с целью признания их государственного значения и необходимости их устройства. В подробности деятельности Львова на Кавказе я не посвящён вовсе, но со слов Марии Алексеевны знаю, что, как всегда, он провёл там гигантскую работу: осуществил важные археологические изыскания, экономические исследования, составил проекты водных лечебниц...

Послесловие

На этом воспоминания старого Петербургского кондитера обрываются.

Добавлю несколько строк, чтобы завершить его рассказ о последних днях жизни Николая Александровича Львова.

Свою последнюю миссию на Кавказе он выполнил успешно, несмотря на очередное резкое ухудшение здоровья. Ему едва хватило сил добраться до Москвы, где его ждала Мария Алексеевна, прибывшая туда вместе с горничной Лизой. Скончался он на руках у жены, которая перевезла его тело в Никольское. Так уж случилось, что Николай Львов не завершил самого главного, самого прекрасного сооружения в своём имении – храма-усыпальницы во имя Вознесения Христова. Строительство храма после смерти мужа заканчивала Мария Алексеевна. Её союз с Николаем Львовым, кажется, был, действительно, заключён на небесах. «Моя вторая половина, – говорил о жене Львов. – Я на счастье женат». Это было совпадение во всём – во взаимной любви и преданности, во внешней красоте и привлекательности обоих, в уме и остроумии, в недюжинных деловых качествах. Мария Алексеевна оказалась не только прекрасной женой, подругой, но и прекрасной хозяйкой имения, знала толк в виноделии и садоводстве, строго спрашивала отчёт в делах с управляющего, и всё время думала о будущем детей. Родители оста-

вили сыновьям немалое наследство, дочерям – достаточное приданное. После смерти любимого мужа весь смысл существования Марии Алексеевны сосредоточился на завершении строительства мавзолея. После освящения храма Вознесения Христова Львов был перезахоронен в усыпальнице. Мария Алексеевна почила рядом с ним через четыре года. Судьба отпустила любящим супругам один срок жизни на земле – пятьдесят два года...

В 1917 году склеп был осквернён. Останки четы Львовых и нескольких их потомков были вытащены из могил и брошены по всей территории имения.

В настоящее время на реставрацию Никольского нет средств, в нём царит разруха и запустение, лишь закрыт от вандалов металлической решёткой вход в усыпальницу.

Имя Львова оказалось забытым на долгие годы. В советские времена его фамилия не упоминалась ни в одной энциклопедии, о его научных открытиях знали лишь специалисты. Далеко не все многочисленные архитектурные памятники по всей России, сооружённые по его проектам, сохранили фамилию своего автора.

Но память о Николае Александровиче Львове бережно сохраняется на его малой родине в Торжке. Десятки благоустроенных помещичьих усадеб, создание в них прекрасных архитектурных ансамблей, заново возведённые храмы в разрушающемся древнем Борисоглебском монастыре, несколько прекрасных церквей, построенных в самом Торжке –

местные краеведы продолжают исследовать его творчество. В 2004 году на главной площади города городская администрация и фонд имени Н.А. Львова установили знаменитому земляку скромный памятник. Автор бюста на высокой колонне – скульптор Ю.П. Карпенко. Этот бюст в Торжке – сегодня единственный знак уважения России к своему великому гражданину.